



Д. ТРУСКИНОВСКАЯ  
**СВИДЕТЕЛЬ  
С КОПЫТАМИ**

ВЕЧЕ

Новая библиотека приключений и научной фантастики

Даля Трускиновская  
**Свидетель с копытами**

«ВЕЧЕ»

2018

**Трускиновская Д. М.**

Свидетель с копытами / Д. М. Трускиновская — «ВЕЧЕ»,  
2018 — (Новая библиотека приключений и научной фантастики)

ISBN 78-5-4484-7712-6

После того как на престол взошла Екатерина II, любимый полк Петра III, состоящий из немцев-голштинцев, был расформирован, но несколько офицеров осталось в Санкт-Петербурге. Возник заговор – голштинцы собрались убить императрицу. Место для подготовки покушения выбрано с расчетом – поблизости от имения графа Орлова-Чесменского, по общему мнению обиженного на императрицу за свою отставку. Если что-то пойдет не так – виновным окажется он... Узнав, что замышляется неладное, московский обер-полицмейстер Архаров посылает своих испытанных агентов вести розыск...

ISBN 78-5-4484-7712-6

© Трускиновская Д. М., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

# Содержание

Пролог	6
Часть первая	10
Глава 1	10
Глава 2	16
Глава 3	24
Глава 4	30
Глава 5	36
Часть вторая	42
Глава 6	42
Конец ознакомительного фрагмента.	49

# **Даля Мееровна Трускиновская**

## **Свидетель с копытами**

© Трускиновская Д.М., 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

\* \* \*

## Пролог

Московский обер-полицмейстер Николай Петрович Архаров читать и писать, умеет, умел, но не любил. А вот слушал охотно, и личный секретарь Саша Коробов частенько бывал занят с утра до вечера то чтением деловой переписки, то развлекательного романа, русского или французского, на сон грядущий.

Апрельский вечер 1776 года был уже довольно теплым. Архаров приказал выставить зимние рамы и проветривать комнаты поочередно. Однако и топить печи велел – мало ли, подморозит ночью, любуйся потом на сопливую дворню. Особенно он берег Сашу – секретарь у него был хрупкого сложения и болезненный.

Пока праздновали Пасху, хватало обычных дел: пьяные драки, воровство в домах, где хозяева утратили на радостях бдительность, и разбирательство с несчастными, которые полезли на колокольню и сдуру свалились; раз уж в Светлую седмицу всякий может забраться туда и потрезвонить, то неуклюжих болванов обычно в избытке. Поэтому скопившиеся деловые письма, на первый взгляд не слишком срочные, Архаров приказывал брать домой и читать вслух по вечерам.

Он полулежал на кушетке, окутав плотный стан необъятным тяжелым шлафроком, Саша сидел напротив, бумаги были на круглом столике, где камердинер Никодимка обычно сервировал Архарову завтрак. На них падали розовые закатные лучи, и обер-полицмейстер лениво думал, что хорошо бы перебраться на постель и заснуть, потому что глаза слипаются.

Саша тоже поглядывал на бумаги – осталась совсем тоненькая стопка. Он надеялся, что минут за десять управится и, пожелав Николаю Петровичу доброй ночи, уйдет в свою комнату – читать «Теорию движения планет и комет» господина Эйлера. Несколько лет назад из-за слабого здоровья покинув университет, Саша вскоре затосковал по знаниям. В доме Архарова он жил на всем готовом, питался сытно, окреп и, хотя полицейская служба отнимала много времени, всегда находил возможность прочесть хоть несколько страниц высокоумной книжки. Он даже, совершенно не имея музыкального слуха, пробовал понять Эйлерово представление о «звуковой сети», недавно наделавшее много шума в научных кругах; сам трактат, писанный по-латыни, он бы одолеть не смог, но за спорами следил.

Там, в комнате, книги стояли стопками и на стульях, и на столе, и на полу, так что человек более плотный, чем секретарь Коробов, непременно бы все эти бастионы и рavelины обрушил, но худенький Саша уже наловчился пробираться к постели без ущерба для научных трудов.

– Что еще? – пробормотал Архаров.

– Из столицы, от господина Чичерина, – сказал Саша. – Совсем краткое.

– Валяй...

– «Милостивый государь Николай Петрович, честь имею поздравить со светлой Пасхой Христовой и спешу уведомить о деле, которое представляется мне важным и спешным, – прочитал Саша. – Человек из моих служащих сообщил, что в столице объявился Рейнгард фон Бейер, один из голштинских любимцев покойного императора. Оный Бейер, по моим сведениям, был в числе сподвижников окаянного бунтовщика Пугачева. Ходили слухи, будто убит, и теперь видно, что сам он распространению сих слухов способствовал. По розыску вышло, что доподлинно Бейер тайно был в Санкт-Петербурге, совершил убийство здешнего обывателя, а ныне столь же тайно направляется в Москву, имея опасные замыслы и сопровождаемый сообщниками...»

– Мне тут только голштинцев доставало, – проворчал Архаров. – Придется изловить... Сашка, бери бумагу, пиши: «Его превосходительству господину генерал-аншефу Чичерину. Милостивый государь Николай Иванович, честь имею поздравить со светлой Пасхой Христо-



вой. Означенного Бейера будем искать. Благоволите прислать имеющиеся сведения и словесный портрет...»

Архаров задумался. Что такое словесный портрет – он знал: счастье, коли у злодея две бородавки на носу, глаз выбит или родимое пятно на полрожи. По такому описанию найти нетрудно. А коли «росту среднего, лицо обыкновенное, нос обыкновенный»?

– Саша, пиши: «...А более всего был бы благодарен, коли бы прислали человека, способного опознать одного Бейера». Ну и дальше – с уверенением в совершеннейшем почтении, сам знаешь... Потом я все разом подпишу. Надо же, голштинец! Вот когда выплыл! Неймется им, треклятым! Что он затевает? Как полагаешь?

– Ничего хорошего, Николай Петрович.

Покойный император Петр Федорович был сыном герцога Голштинско-Готторпского Карла-Фридриха и родным внуком императора Петра Великого. При крещении он получил имя Карл-Петер-Ульрих. Голштинию он любил, провел там все детство, собирался править этим маленьким, но удачно расположенным государством, однако династические дела в России сложились столь занимательно, что его вытребовала к себе родная тетка, императрица Елизавета, чтобы сделать своим наследником и, когда Господь призовет ее, русским царем.

Племянник же никак не желал считать себя русским – он был немцем и старался окружать себя немцами. Дошло до того, что образовалась маленькая немецкая армия, хотя в нее попало немало и русских – пехотный полк Нарышкина составили из русских служителей Ораниенбаумского дворца, придворных охотников и местных обывателей. Среди голштинцев хватало также лифляндцев и малороссов. Были у великого князя Петра Федоровича свои кирасиры, свои пехотинцы и гусары, среди которых можно было встретить даже калмыков, персов и сербов. Построил он и свою крошечную, почти игрушечную крепость – Петерштадт, для отработки маневров и натуральной игры в солдатики, с торжественной сменой караула и дотошным исполнением ружейных приемов.

Взойдя в 1762 году на престол, государыня Екатерина избавилась от «голштинского отряда», справедливо считая, что он еще долго будет верен низложенному супругу. Тех, кого сочли «природными голштинцами», отправили вместе с генералом Шильдом в их отечество морем, лифляндцев и малороссов – в Лифляндию и Малороссию, а русским выдали новые паспорта и определили тех, кто желал служить государыне, в армию с теми же чинами. Несколько голштинцев, штаб-офицеров и обер-офицеров, изъявили желание служить в столице или поблизости, причем за чинами не гнались, и государыня их просьбы удовлетворила.

Было еще несколько сотен человек, прибывших на купеческих кораблях уже после того, как вызвавший их к себе Петр был заперт в Ропше и там скончался. Этим попросту велели поворачивать оглобли.

Но кое-кто упрямо не желал признавать поражения, остался в России, затаился и сделал ставку на юного Павла Петровича. Чем старше становился сын покойного императора, чем острее делались противоречия между ним и матерью, тем более расцветали надежды неугомонных голштинцев. Когда же начался пугачевский бунт, они поверили в то, во что страстно желали верить, – что император Петр спасся и идет с войском возвращать себе трон и корону.

Уже невозможно было узнать, кто из голштинцев выкрал знамя драгунского полка Дельвига и, собрав несколько приятелей, отправился с ними в оренбургские степи – воевать на стороне мнимого Петра. Судьба этих людей тоже была туманна – о некоторых узнали, что они погибли, а знамя обнаружили в пугачевском обозе. Развевалось ли оно во время атак – никто сказать не умел. Оказалось, покойнички, где-то отсидевшись, вылезают на свет Божий...

Архаров, вместе с князем Волконским готовивший Москву к обороне от возможного нападения самозванца, знал – тут хватает недовольных, которые из одного лишь желания насолить государыне способны поддержать не только Пугачева, но и черта лысого. Знал он также, что в окружении Павла Петровича, в «малом дворе», постоянно рождаются опасные замыслы.

Знал, что супруга великого князя, Наталья Алексеевна, в девичестве принцесса Гессен-Дармштадтская, не в ладах с государыней и мечтает поскорее взойти на трон, для чего и подзуживает постоянно нелюбимого мужа, чтобы добивался своих прав. Знал, что вокруг наследника вьют петли сомнительные персоны, связанные и с французским, и с английским, и чуть ли не с турецким двором. Предупреждение петербургского полицмейстера сулило неприятные приключения и многотрудный розыск, в котором будет занята вся московская полиция, будут потрачены время и деньги, а лавры достанутся Чичерину – потому что главные события должны произойти в Санкт-Петербурге или поблизости от него.

– Будь он неладен... – проворчал Архаров, и Саша не понял, к кому это относилось: к Бейеру, к Чичерину или даже к самому наследнику Павлу Петровичу.

– Прикажете продолжать? – спросил он.

– Продолжай...

Но Сашин голос то пропадал, то вновь возникал в ушах, потому что полицмейстерская голова уже была занята планом будущего розыска.

Бейер вряд ли остановился на постоялом дворе или снял комнату, хотя мог – если обзавелся фальшивыми документами. На всякий случай следовало приказать частным приставам собрать сведения обо всех, кто недавно поселился в их частях открыто. Бейер, побывав в пугачевском войске, да и вообще проведя немало лет в России, мог так наловчиться балакать по-русски – от природного русака не отличить. Правда, немцы редко снисходят до изучения российской речи, но такой возможностью пренебрегать нельзя.

Его мог приютить кто-то из московских немцев, какой-нибудь неприметный аптекарь или булочник...

Когда так – он говорит со своим аптекарем или булочником по-немецки. Во-первых, по-русски – незачем, ни к чему ему, чтобы соседи все слышали и понимали, а во-вторых, немцы живут обособленно, роднятся меж собой, и русская речь им требуется лишь настолько, чтобы гробовщику договориться с заказчиком о цене гроба, а портному – о длине камзола.

Архаровцы знают немецкое наречие в весьма скромных пределах, то есть объяснить с булочником насчет покупки сдобы они еще в состоянии, изругать пьяного сапожника – тоже, но понять долгую беседу со множеством незнакомых слов – ни за какие коврижки. Хоть спешно учителя для них нанимай.

Однако Саша, бывший студент, при малейшей возможности кидается читать ученые книжки, и Архаров над этим даже подшучивает...

– Помолчи ты, Христа ради, – велел Архаров. – Бубнишь как пономарь... Переведи дух. Ты ведь немецкие книжки читаешь и понимаешь?

– Читаю и понимаю, Николай Петрович.

– Без лексикона?

– Когда мудреное слово – лезу в лексикон.

– Они у немцев все мудреные. Докопайся, кто из наших поприличнее знает немецкий.

– Чего копать-то? Яшка Скес. Ну и господин Шварц, конечно.

– Шварц за Бейером сам бегать не станет. Ну, стало, на тебя вся надежда. Завтра с утра поедешь со мной на Лубянку. Первым делом сыщи мне там Скеса, затем... Степан! Канзафаров! Он при мне как-то немецкую срамную песню пел – думал, я не пойму!

Архаров расхохотался.

– Тимофей, кажись, тоже понимает поболее прочих шалопаев. Ничего, Сашка! Изловим сукина сына! А ты, пока мои молодцы будут по аптекам шастать и немочек с пути истинного сбивать, найди-ка немца потолковее и говори с ним целыми днями. Как знать, может, тебе ролю играть придется, так чтоб комар носу не подточил.

– Будет сделано, ваша милость, – горестно отвечал Саша.



Он считал себя архаровцем, поскольку был Архаровым подобран в чумную московскую осень и состоял при нем с первого дня его полицейской карьеры. Ему хорошо жилось в особняке на Пречистенке, он по природе был домоседом, будь его воля – вообще бы вылезал из особняка только в книжные лавки, он обожал собирать разнообразные знания, совмещать их в голове, заполнять прорехи в математике и физике, но, раз уж ты архаровец, изволь участвовать в розыске.

## Часть первая

### Глава 1

Апрельское утро – солнечное, радостное, а если спозаранку – долгожданная новость, то стоит жить на свете!

– Батюшка Алексей Григорьич, из Бирюлева парнишка прискакал! Господин Плещеев прислал! С зарей в путь двинулись, к обеду, я чай, будут!

– Славно! Парнишку – на поварню, покормить. Вели фрыштик мне подавать. Да не мудри – чего попроще! И седлать Венеру. Сам навстречу поеду. Крикни там Егорке с Матюшкой – пусть собираются и ждут. И вели стойло готовить, свежей соломы постелить, чистой воды из родника принести! Сена – наилучшего, с пыреем! Первого укуса, так и скажи! Овса – того, что дают всем арабам! Пошел!

Это был долгожданный день, праздничный день, и граф решил – как только приведут новопкупку, белого арабского жеребца неслыханных статей, что обошелся в шестьдесят тысяч рублей – деньжищи невероятные, – велеть отслужить благодарственный молебен. Конь таких денег стоил – хотя на островских конюшнях уже стояло десять отличных арабов да девять арабских кобыл, с этим ни один жеребец бы не сравнился.

А отчего бы и не потратить графу Орлову шестьдесят тысяч на породистого жеребца? Деньги, слава Господу, есть, да и азарта хватает. Много рабов Божьих Алексеев в Санкт-Петербурге, коли поискать – найдутся в России и полные тезки, Алексеи Орловы, а вот Алехан Орлов – один. Кто и когда искажил имя – уже не понять, но вот когда бы граф того человека встретил – по алмазу за каждую букву подарил бы. Удачно получилось, ничего не скажешь, и единственный на всю Российскую империю Алехан, покупающий единственного в мире драгоценного жеребца, – это правильно!

Шестьдесят тысяч? Вот и прекрасно! Пусть нищebroды завидуют.

Старый камердинер Василий, пятясь, покинул спальню. Граф потянулся во всю мощь крупного сильного тела. Провел пальцем по щеке – вроде щетина не так яростно в рост пошла, можно обойтись без брадобрея Федьки. Бриться граф не любил. Смолodu приходилось, какой же гвардеец с бородой? А теперь, выйдя в отставку – поневоле выйдя, ну да ладно, – мог по два-три дня и более шершавый ходить. Федька наловчился так выбривать щеку вокруг шрама, что ни волоска не оставлял, а все равно неприятно.

Меченый. Балафре. Как герцог Гиз из французской истории. Орлов-Меченый. Орлов-Балафре. А и ладно, дамам даже нравится – до сих пор ни одна против шрама на роже не устояла. Гиз-Балафре тоже был ходок по дамской части. Если верить аббату Брантому, нарочно собравшему все скабрeзности старого французского двора, имел амуры с королевой Маргаритой Наваррской, той самой «сестрицей Марготон», которую король Карл грозился сам за руку отвести под венец с наваррским королем. И ничего королева против шрама не имела...

Может, и императрица не устояла бы...

Да что теперь гадать! Ежели бы да кабы, так росли бы во рту грибы. Может, все и к лучшему. Граф Алехан Орлов ныне – сам себе хозяин. Денег хватает на все прихоти. Вон, главную прихоть ведут из Битцева. Один такой конь на всю планету Земля, может, и есть!

Фриштык был на скорую руку – графу не терпелось увидеть коня. Чесать себя, загибать букли и плести косицу он не велел – Василий просто стянул довольно длинные волосы в хвост и завязал черной бархатной лентой. Простые сапоги, в которых граф обычно ходил на конюшню и занимался с лошадьми, с вечера вычищенные, стояли за дверью. Василий помог их натянуть

и подал кафтан, подбитый беличьим мехом. Для скачки под апрельским солнышком – самая подходящая одежда.

Егеря, Матюшка с Егоркой, ждали у крыльца, уже верхом, Матюшка держал в поводу вороную кобылку Венеру. Оба были страх как рады – его сиятельство на радостях, что привели драгоценного жеребца, наверняка будет жаловать кого рублем, кого и двумя. Оба улыбались – как и положено здоровым парням, довольным жизнью. Глядя на них, и граф невольно улыбнулся: статные, сытые, посадка в седле – не всякий гвардеец так держится.

Раньше он, невзирая на тяжеловатое богатырское сложение, взлетал на коня пташкой. Теперь так уже не получалось. Да и, увлекшись рысками, все больше он катался в дрожках, зимой – в особых крошечных санках с сиденьем на одну задницу.

Утвердившись на коне, убедившись, что стремена нужной длины, граф неожиданно подумал: пожалуй, самое время жениться. Смолоду, когда порхаешь воробьем, вроде рано, в старости, когда еле ковыляешь, – смешно, а в тридцать девять лет уже можно начать приглядываться к невестам. Давняя приятельница, Катиш Демидова, все советует присмотреться к Дуне Лопухиной, род хороший, девица – изящная брюнетка, а беспокоиться о приданом графу Орлову, с его-то богатством, даже смешно – он может жену и в одной застиранной рубашке взять, была бы хороша собой и мила. Пока граф находил у Дуни один недостаток – слишком молода, пятнадцать лет. Хотя в этом возрасте девиц и сватают, и под венец ведут, но он хотел бы видеть рядом с собой более зрелую особу, а не такую, что еще в куклы играет.

Катиш Демидова ему бы более подошла, умеет во всем угодить, знает, что нужно любовнику... да неспособна хранить верность мужу! Кто бы ни был тот муж – за прелестницей нужен глаз да глаз. Иначе преподнесет наследника неизвестно чьих кровей.

Вспомнив ее огромные черные, исполненные невинности очи на милом детском личике, граф усмехнулся и, махнув рукой егерям, рысцой выехал с заднего двора. Когда кобылка под ним поднялась в галоп и легко понесла его по расчищенной дорожке, граф вновь стал молод и способен на безумства. Пожалуй, даже от хорошей драки в трактире не отказался бы – давно кровь не кипела... Ох, эти драки, когда в ход идут стулья и бильярдные кии... а смеху потом?! А хвастовства?!

Он умел наслаждаться простыми радостями. Выехать рано утром на резвой кобылке, подставить лицо апрельскому солнцу, вдохнуть чередующиеся весенние запахи – это ли не радость? И запах навоза из куч, которые уже разгребают поселяне, – тоже радостный весенний запах. На пашни, что расположены повыше, на пологих склонах холмов, вышли пахари – вон они, один, другой, там, подальше, третий. Туда-то и пойдут дня через два телеги с навозом, а следом – веселые бабы и девки с вилами. То-то будет песен, смеха и визга! Это еще не страда, это еще не труд до седьмого пота, оболванивающий и лишаящий всякой радости труд. Это еще – то весеннее хмельное состояние, когда после зимнего сидения в избе при лучине, с надоевшей прилищей, помахать вилами – в радость.

Скорей бы просохли луговые ложбинки, подумал граф, скорей бы выводить коней на вольный выпас, на свежую сочную траву. Что может быть красивее гнедого белого жеребчика, идущего галопом по зеленому лугу?

Четыре года назад граф распорядился начать понемногу переводить большинство лошадей в имение Хреновое Воронежской губернии – подарок государыни. Это не Подмосковье, где у каждого мелкопоместного дворянчика есть своя деревенька, плюнь подальше – на соседскую землю попадешь, это – простор! А орловское поместье Остров – всего-то в восемнадцати верстах от Москвы.

Хреновое – это было развлечение на всю жизнь. Сколько там всего предстояло построить! Хозяйство задумывалось с большим размахом – граф хотел иметь даже свой кожевенный завод, чтобы не посылать за каждым ремешком на рынок...

Резвая кобылка взбежала на холм и, послушная легкому натяжению поводьев, встала. Граф из-под руки оглядел окрестности. Нет, каравана, что неторопливо продвигался к Острову, еще было не угледеть.

Караван был немалый – когда дело о покупке сладилось окончательно, граф снарядил за драгоценным жеребцом целую экспедицию: послал старшего конюшего Ивана Кабанова, конюха Степана, двух толмачей и полтора десятка солдат Преображенского полка, где он одно время был подполковником. К этому отряду присоединились в Греции еще солдаты и матросы. Все ехали верхом, тащили с собой немалый обоз, чтобы ночевать в своих шатрах, но Степан шел в середине кавалькады пешком, ведя в поводу жеребца. Так понемногу оставили за спиной Грецию, Македонию, Венгрию, Польшу, делая по пятнадцати верст в день, зимовали по приказу графа в поместье князя Радзивилла под Дубно, потом, когда погода позволила, опять тронулись в дорогу. Заняло это путешествие полтора года. Морем, понятное дело, быстрее, но сушей – надежнее.

И вот глазастый Егорка издали высмотрел караван.

Гикнув, граф поднял Венеру в галоп и понесся навстречу своему сокровищу.

Подскакав поближе, он расхохотался:

– Ну, ребята, ну, разумники! Отродясь такого не видывал, хвалю!

Жеребец был в теплой попоне, а на шею ему Кабанов и Степан намотали шерстяную турецкую шаль с большими узорами, недоуздок же подбили хлопчатой ватой и шелком, чтоб было мягко.

Соскочив с кобылки, граф подошел к жеребцу, взял обеими руками за недоуздок, подвел морду прямо к своему лицу, поцеловал в нежный розоватый храп.

Конь чуть вздернул голову, самую чуточку, без испуга и злобы. Конь отступил на шаг, озадаченный поцелуем, но не оскалился. Конь показал: ну, если мой хозяин – ты, мы, сдастся, поладим.

– Тебе не жарко, милый? – спросил граф коня.

– Ваше сиятельство, спозаранку выводили, холодно еще было, иней на траве лежал, – вместо жеребца ответил Кабанов.

– А сейчас-то уже припекает. Ну-ка, хоть шаль снимите. Дайте я на его шею полюбуюсь. Дивное создание Божье...

Граф поехал рядом с жеребцом, ведя самый любезный его сердцу разговор с Кабановым и с конюхом Степаном: как жеребец в дороге проедал корм, какие оказывал предпочтения, не случилось ли мелких неприятностей, могли ли его проездить рысью хоть пару раз в неделю. Когда апрельское солнце вынудило графа не только расстегнуть, но и скинуть кафтан, Степан снял с коня попону.

– Красавец! – сказал граф, любуясь жеребцом. – Цветом – как самая белейшая сметана... Так что звать его отныне Сметанным!

Жеребец высоко нес голову – такой головы еще поискать, подумал граф, во взгляде – гордый нор и благородство натуры, сто поколений прекрасных предков стоят за таким конем.

– Идем, идем, Сметанушка. До дому недалеко, там тебе стойло будет, там тебя в леваду выпустим, – пообещал Степан и похлопал коня по лебединой шее.

Граф подумал, что хорошо бы поискать гнездо маток фризской породы, у лошадей из Фрисландии встречается нередко очень устойчивая и ровная рысь. Через год можно бы подпустить к ним Сметанного, а пока для него другие невесты наготове, пусть только отдохнет после дороги, обживется, освоится...

Не прошли и версты – встали, потому что сбоку выворачивал на дорогу экипаж. Ему бы проехать мимо, но кучер натянул поводья, а дверца отворилась.

– Тебя тут еще недоставало... – проворчал граф и медленно поехал изъяснять любезность – кланяться и осведомляться о здоровье. В иное время он бы охотно потолковал с княгиней

Чернецкой – старуха была большой любительницей лошадей, всерьез занималась разведением, насколько позволяли доходы, и даже приобрела у графа пару двухлеток арабских кровей, – но сейчас все мысли занимал Сметанный.

– Соседушка! Соседушка любезный! – закричала старая княгиня. – Так это и есть твой долгожданный жеребчик?

Граф Орлов мог быть и заносчив, и груб – по обстоятельствам, но с дамами соблюдал галантность, тем более – даме за семьдесят, напрашиваться на амуры не станет.

Чтобы не заставлять княгиню вопить, он подъехал вплотную к экипажу.

– Да, ваше сиятельство, тот самый жеребец. Хорош?

– Хорош, – согласилась старуха. – Голова чисто арабская, не спутаешь. Сильного сложения. В холке, поди, двух вершков будет. Да спина длинновата.

Взгляд у нее был точный.

– Так тем и замечателен. Двух с половиной, ваше сиятельство. Для араба немало.

«Два аршина», говоря о росте коней, да и людей тоже, обычно опускали, оставляя «два с половиной вершка».

– Верно ли врут, будто шестьдесят тысяч отдал?

– Копейка в копеечку, – усмехнулся граф, как будто каждый день столь дорогих лошадей покупал. А меж тем княгинина запряжка шестериком, очень неплохая запряжка буланых, известная всей Москве, он знал – обошлась ей в две тысячи с половиной, и соседи осуждали ее за такую несусветную трату денег.

– Батюшка Алексей Григорьевич, – княгиня заговорила так умильно, что граф сразу догадался – будет просить. – А не сговоримся ли? У меня кобылка, сам знаешь, Милка, арабских кровей, в возраст вошла, так нельзя ли к ней твоего красавца подпустить? А я в долгу не останусь!

– Милку помню.

Эту лошадь княгиня купила у него года полтора назад еще двухлеткой, и сама дорастила, дорастила хорошо, заботливо. Милка была от отца-араба и матери-неаполитанки; пожалуй, последний опыт графа по скрещиванию этих пород. Он знал, что опыты были неудачными, резвая рысь – но выносливость скверная, и тяжеловаты кони, на графский взгляд. Ему нравились подсушенные рысистые лошади, каких умеют растить и школить англичане. А эти – скорее на купеческий вкус. Купцы и жен любят дородных, и лошадей. Иначе – стыдно, люди скажут: плохо кормит.

– Ну так сговоримся?

– Спешить некуда, ваше сиятельство. Жеребец с дороги устал.

– Вот ты как, граф...

Княгиня жила при дворе и понимала, что отказ может быть и деликатным.

– Мы потом про это потолкуем, ваше сиятельство. Куда ездить изволили?

– В гостях была, в Братееве, три дня прожила, сегодня с утра вместе с кузиной в Божий храм пошли, службу отстояли и – в дорогу.

– Коли угодно, пожалуйста ко мне, я на Георгия Победоносца вздумал молебен отслужить – благодарственный и во здравие моей живности. Сказано же – «блажен, кто и скоты милует». После – откушать, чем Бог послал.

Граф умел подсластить горькую пилюлю – при дворе это одно из важнейших умений, а он придворную науку выучил неплохо.

– Как Бог даст, – брюзгливо ответила княгиня.

На том и расстались.

Возле конюшни жеребца встречала вся дворня – любопытно же, на что такие деньги угроханы. Даже хлеб-соль ему вынесли, хотя жеребец от ломтя круто посоленного черного хлеба

отказался, к такому не был приучен; он и к русскому овсу, который нарочно для него взяли Кабанов и Степан, не сразу привык, предпочитал ячмень.

Граф, не сходя с седла, обозрел весь конюшенный народ. Требовались помощники Степану, которого граф решил оставить при Сметанном. После долгого пути конюх нуждался в отдыхе, да и заслужил право сидеть на лавочке да покрикивать на молодых.

– Фролка! – крикнул он. – Ерошка!

Фролка был плечистый парень, силищи немереной, добрый и покладистый. Ерошка, напротив, был мельче в кости, норовистый, но отличный наездник – граф сам его школил, и что в седле, что в дрожках, с вожжами в руках, он одинаково хорошо управлялся с лошадьми. У Ерошки был один недостаток – сильно побитое оспой лицо. За это над ним подшучивали красивые дворовые девки, гордые тем, что его сиятельство приближает их к своей особе; граф был мужчиной видным, щедрым, девки охотно откликались на зов, ссорились из-за его благосклонности и очень бы удивились, если бы кто сказал, будто развратник понуждает их к ласкам. Самолюбивый Ерошка отвечал девкам презрением и язвительными замечаниями об их красоте, над чем потешалась вся конюшня.

Фролка и Ерошка встали перед барином, ожидая приказаний.

– Вы оба с сего дня будете помогать дяде Степану, – приказал граф. – Никто иной чтоб к Сметанному и близко не подходил. Егорка, Матюшка! Вам также при Сметанном состоять, когда его будут проезжать и резвить, когда пустят в загон пастись, чтоб и вы тут же были! Пусть конь вас также знает. Будете свитой его конской милости. А ты, Степушка, сейчас наскоро обучи ребятку самому главному, передай все причуды нашей новопкупки, потом даю тебе три дня отдыха, отлеживайся, ешь-пей вволю и всласть. Со своей поварни все, что нужно, пришлю. Когда соберусь – поедешь со мной в Москву, пойдем в лавки, купим тебе и твоей бабе с детишками, чего пожелаешь. И лесу на новую избу дам – заслужил, живи барином!

Степанова жена была тут же, в толпе, не решалась подойти к мужу. Но, когда конюхи разом поклонились в пояс графу, она тоже вышла вперед и поклонилась.

– Ванюша, пойдешь со мной, расскажешь вдругорядь с самого начала, что да как, – велел Орлов. – А то письма, что от тебя приходили, одно другого бесполезнее: милостью Божьей живы-здоровы да жеребец милостью Божьей жив и здоров, да поклоны. Ну, пошли, что ли, а вы – за работу!

Степан повел Сметанного в стойло, Фролка с Ерошкой пошли следом. И Ерошка еще успел услышать веселые шепотки девок:

– Девки, умницы, не зевайте, наш Ерошка теперь знатный жених, коли угодит жеребчику – ему барин вольную даст! Ох, даст! Ерошка еще перебирать станет – та ему нехороша, эта нехороша!

Молодой наездник счел ниже своего достоинство оборачиваться и отвечать. Что с дур возьмешь – у них одно на уме.

Он понимал, что жениться необходимо, но уж никак не на дворовой девке его сиятельства! Такую могут под венец и брюхатую поставить. И станешь посмешищем. О вольной он не думал – ему и в Острове жилось хорошо, на всем готовом, и денежек было прикоплено. Так что зря девки пересмеивались и трещали языками – его все это не уязвляло, нет, не уязвляло.

Настанет день – будет у Ерошки свой двор, крепкое хозяйство, но к той поре нынешние девки станут уже не молодыми, а старыми дурами; он же высватает двадцатилетнюю красавицу, которая охотно войдет хозяйкой в богатый дом. Еще и приданое за ней хорошее возьмет. Тем более – войдя в мужские годы, Ерошка отпустит бороду, которая прикроет рытвины на роже. Все это счастье он очень живо представлял себе: как он будет щедр с молодой женой, как станет ее наряжать, дарить ей золотые перстеньки, запястья, жемчужные серьги, кисею и парчу, дорогой приклад для рукоделья, чтобы не было узоров богаче, чем на ее праздничной рубахе.

И домашней работой не обременит – пусть тешится вышивкой да детишек нянчит. Тогда-то нынешние девки от зависти все локти себе изложут.

– Тимоша, принеси воды да натруси в ведро сена, – велел Степан. Родниковая вода вкусна, да холодна, а пока Сметанушка будет сквозь сено тянуть ее – она малость согреется. Не дай Бог простудить коня – арабы на островской конюшне, как их ни берегли, плохо переносили холод и зиму.

– Сейчас, – сказал Ерошка.

Сметанного поместили в стойло, дали лучшего сена, из того, что нарочно запасли чуть ли не год назад и берегли, с пыреем и с луговыми травами, которые только собрались зацвести, в таких травах – самая сила. Фролка приволок особый небольшой ларь для овса. Он уже стал разговаривать со Сметанным, приучать его к своему ласковому голосу. Ерошке это еще только предстояло.

Но и он сумел договориться с жеребцом – граф понял это, когда при нем вывели Сметанного, чтобы проехать, на беговую дорожку вдоль Москвы-реки. Ерошка сидел в легоньких дрожках, на поддужную лошадь, которой полагалось идти галопом справа от коня, не обгоняя его, посадили парнишку Сеньку, и Сметанный пошел плавной широкой рысью, красиво вскидывая неумолимые ноги безупречной формы.

– Хорош, ах, хорош! – кричал граф. – Ерошка, прибавь ходу! Что за рысь! Ну, будет у нас лет через пяток свой русский рысак! От Сметанкиных детей выведем такое потомство – англичанам и не снилось!



## Глава 2

Вернувшись к себе, княгиня Чернецкая сорвала злость сперва на дворовых девках, потом на приживалках. У нее хватило доброты, чтобы дать приют двум офицерским вдовам, двум чиновничьим и одной немке, но сгоряча она могла и изругать, и попрекнуть.

Особенно на сей раз досталось немке – тихой и кроткой Амалии Генриховне, которую велено было звать Амалией Гавриловной.

Эта старая девица попала в княгинин дом пять лет назад из-за печальных обстоятельств: княгиня торопилась, неслась по Невскому, кричала кучеру, чтобы гнал лошадей во весь мах, кучер честно орал: «Ги-и-ись!», два гайдука, скакавшие впереди, кричали: «Пади-и-и!», но Амалия непостижимым образом угодила под колесо экипажа. Нога была раздавлена, ступня раздроблена. Княгиня велела усадить бедняжку в экипаж, прямо на пол, и потом, уже возвращаясь домой, завезла ее к доктору, оплатив лечение вперед. Доктор не смог ничего поделать, Амалия осталась навеки хромой.

У Амалии был жених, аптекарский ученик, и они вдвоем прилежно копили деньги, чтобы завести свое дело. Честная и преданная жениху немка трудилась в мастерской у модистки и ждала свадьбы девять лет – пока не стряслась беда, а потом аптекарский ученик решил, что хромая жена, которой требуется даже не трость, а целый костыль, ему не нужна. Совместно скопленные деньги, впрочем, он оставил себе.

Узнав об этом, княгиня разозлилась и взяла немку в дом, на полное свое содержание.

– Кто ж на ней, на дуре, теперь женится? Приданого нет, хромая, да и на рожу нехороша, – так сказала княгиня. – А мне грех искупать надо. Да и на том свете зачтется. Ничего, прокормим!

Амалия была, как большинство городских девиц, бледненькой и словно бы выцветшей. Если бы она румянила щеки и подводила светлые бровки, не сутулилась, то выглядела бы приемлемо. Но, брошенная женихом, искалеченная, она отказалась от малейших попыток придать себе хоть какую соблазнительность.

Сперва немку приспособили к делу – она, служа у модистки, выучилась делать прически со взбитыми волосами и с буклями всех видов, так что не даром хлеб ела. Опять же, чепцы. Княгиня в силу возраста уже не шляпы носила, а чепцы с дорогим кружевом. Амалия же умела так ловко собрать и распределить вокруг лица кружево, что княгиня полностью доверила ей свои головные уборы. Потом у нее обнаружился особый талант – она умела мастерить саше<sup>1</sup>.

У княгини по части запахов был своеобразный вкус – конюшенные ароматы ее радовали, а запах человеческого пота и немытых ног безмерно раздражал. Амалия чему-то научилась, бывая у жениха в аптеке, что-то переняла от знакомых и в модной лавке, она знала, какие травы, помещенные вместе, способны и смягчить, и даже вовсе истребить вонь от пота и от прочих человеческих выделений. Мало того – она вышивала прелестные мешочки и подушечки, которые набивала травами и древесными опилками, обшивала кружевом и ленточками. Тонкость вышивки и подбор цветов были изумительны. Получались саше, которые даже не стыдно подарить бедной родственнице на именины. Подушечка, помещенная в шкаф или сундук между простынями и наволочками, сообщала постельному белью тонкий аромат, еще ее можно было подвешивать под юбками за особую петельку или даже вовсе носить в кармане.

Теперь эти подушечки, эти крошечные букетики, эти тончайшей работы вышитые цветочки стали ее единственной отрадой. Выезжая вместе с княгиней в подмосковную, Амалия сама собирала травы, сама их сушила, и для того ей отвели комнатку в дальнем флигеле,

---

<sup>1</sup> Саше – подушечка с ароматизаторами, предназначенная для ароматизации белья или отпугивания моли.

причем за попытки посторонних проникнуть туда княгиня карала сурово, как-то даже велела запереть дворовых парнишек в чулане на неделю, на хлеб и воду.

Таким образом Амалия оказалась совершенно незаменима в княгинином доме. Ее даже выпускали к гостям, невзирая на костыль. Княгиня говорила с ней по-немецки, всем показывая: вот-де, разными языками владею. Сколько требовалось было денег на швейный приклад – Амалия получала по первому слову и даже ездила в княгинином экипаже по модным лавкам выбирать ленты и шелк самых лучших цветов. А в подмосковной садовник нарочно для немки завел грядки с нужными ей растениями. Так что жизнь немки наладилась, и не одна старая дева ей бы позавидовала.

Амалия рассчитывала услышать похвалу за прекрасно вышитое саше с маками, васильками и прелестной бабочкой, но была послана не то чтобы в известном русском направлении, но похоже. Обидевшись, она сперва забилась в угол княгининой спальни вместе с двумя испуганными горничными, потом и вовсе ушла со своим рукоделием во флигель, обычно пустовавший, в свою душистую комнатку. А княгиня расхаживала взад и вперед, опрокинула табурет и швырнула на пол ночной чепец, не прибранный девками с подушки. Наконец она велела звать к себе молодую скотницу Фроську.

Фроська тоже имела особый талант – коровы ее любили, отдавали ей все молоко, да и не только коровы – вся мужская дворня домогалась ее благосклонности. Был в ней некий тайный огонек, от которого не только парни вспыхивали – старый истопник Гришка как-то даже деньги Фроське за любовь предлагал, но она только посмеялась. Есть вещи, которым не научишься, коли матушка-природа не подарит: Фроська так умела повести плечом, прищурить глаза, вытянуть шейку, что у иного неопытного детины рассудок словно бы испарялся. Княгиня дважды пыталась отдать ее замуж, но те самые кавалеры, что охотно проводили бы с ней бурные ночи, на коленях молили: лучше пусть с них на конюшне плетью шкуру спустят, чем такую шалаву на шею навяжут!

Фроська примчалась на зов и прямо с порога рухнула на колени, склонила бедовую голову, повязанную простым холщовым платком, чтобы, Боже упаси, ни один волосок не упал в подойник, за такое оплеух не оберешься. И по всему было видно: успела где-то с кем-то напракаться.

– Ты, девка, только с нашими дворовыми амуришься или подальше за хахалями бегаешь? – прямо спросила княгиня.

– Грешна, бегаю, – призналась Фроська.

– И до Острова добегаешь? С графскими людьми дружбу водишь?

– Грешна, княгиня-матушка...

Многие девки хотели быть отданными замуж в Остров, да за конюха его сиятельства! Фроська тоже уже подумывала о замужестве, но была о своих прелестях высокого мнения – она желала за вольного, чтобы потерял голову, выкупил, повел под венец и поселился с ней хоть в Орле, коли не в Москве. А до той поры она позволяла себе кое-какие шалости.

– Так. Хорошо. Хочешь ли новый сарафан, да дорогую душегрею, да золотые сережки?

– Как не хотеть, княгиня-матушка!

– Разведай мне, кого из конюхов граф Орлов приставил к новому своему жеребцу. Поняла? Все разузнай – сколько их, как звать, в каких годах. Ступай, жди, тебя сперва Агафья позовет...

Фроська убралась.

– Глашка, Марфутка, раздевайте меня, – приказала княгиня. – Большой шлафрок тащите. Да согрейте на печи! Агаша! Вели кофей с калачом и с сухарями подавать!

Ключница Агафья, поняв, что гроза вроде миновала, появилась из уборной комнаты, наскоро приложила к хозяйкиному плечу и пошла к двери.

– Агаша, стой, надо нашу Фроську принарядить. Сходи потом, погляди, что там у нее в коробе, – велела княгиня. – Коли понадобится – у других девок возьми мониста, ленты и все, что им для щегольства положено.

Ключница молча покивала – она сразу поняла княгинину интригу...

Размачивая в кофейной чашке сухарики, княгиня продиктовала меню обеда, потом принимала старосту, выслушала доклад о деревенских новостях, потом пошла смотреть, как девки шьют чехлы на новые кресла и кушетки, потом потребовала к себе старшего конюха Семена с докладом о конских новостях. Этих дел хватило до обеда. А после обеда она занялась бумагами – засела в кабинете и с лупой в руке проверяла счета, сличала их и очень радовалась, когда удавалось найти неувязку или несоответствие. Это было не столько трудом, сколько одним из немногих развлечений в деревенской жизни. В свою подмосковную деревню княгиня обыкновенно выезжала еще зимой, с началом Великого поста, считая это своего рода покаянием и душеспасительным подвигом. Обрато же в Москву она возвращалась, когда дороги просыхали, и жила там около месяца. Лето и начало осени княгиня проводила обыкновенно в деревне, и раньше часто принимала гостей, теперь же ровесники и ровесницы заделались домо-седами, и назначенный для визитеров дальний флигель обычно пустовал.

– Матушка-барыня! Матушка-барыня, к нам гости! – с таким воплем ворвалась в кабинет Агафья.

– Какие гости, что ты врешь?

– Извольте к окошечку, матушка-барыня!

Окно кабинета глядело на задний двор. Княгиня вышла в гостиную. И точно – вдали уже свернул с раскисшей дороги большой дормез и медленно, колыхаясь, всползал на холм, где стояла усадьба. Дормез сопровождали четверо конных в темных епанчах. Кони скользили по грязи, дормез тоже – того и гляди, завалится.

– Это кому ж дома не сиделось, каким дуракам? – спросила озадаченная княгиня. – В такое время визиты наносить! Агашка, ступай, отпусти поварам сахару, Маркушке-буфетчику – покупных конфетов и пастилы, вели разжигать самовар. Да чтоб Глашка с Марфуткой свежие чепцы надели, руки чтоб помыли! Сама тоже, дуреха, нарядись в ту зеленую робу, что я тебе два года назад пожаловала.

– Там же шнурованье, матушка-барыня! – в отчаянии воскликнула раздобревшая Агафья, всю зиму ходившая распустехой.

– И зашнуруешься! Немку зови, вели мне волосы чесать!

Но полчасу спустя выяснилось, что наряжаться и взбивать волосы было незачем. Прибыли всего-то навсего зять с женой, княгининой младшей дочкой Аграфеной, со своей сестрой Марьей, которую княгиня терпеть не могла, и с внучкой Лизанькой.

Лицо зятя, полковника Афанасьева, без слов сказало княгине: дело нешуточное.

– Агаша, уведи Лизаньку, вели девкам раздеть, расшнуровать, – велела княгиня. – Да покормить, да напоить с дороги!

Внучка ни слова не сказала. Войдя, только сделала низкий реверанс да подошла к бабкиной ручке. И в глаза даже не посмотрела, стояла, опустив голову. Это тоже был дурной знак, как и поджатые губы Марьи.

Умная Агафья сперва приложила устами к внукиному плечу, потом ласково обняла и повела прочь. Княгиня следила за дочкой – Аграфена также молчала, также уставилась в пол.

– Получайте свое сокровище, ваше сиятельство, – без лишней любезности сказал зять. – Сами с ней управляйтесь, а моих сил боле нет.

– Да что стряслось, голубчик мой?

С зятем княгиня старалась быть любезна, потому что знала за дочкой кое-какие грешки и очень не хотела, чтобы муж бросил Аграфену. И так-то с немалым трудом замуж выдали...

– То и стряслось, что запойной пьяницей стала. Вот сестра не даст соврать. В Великий пост из дому сбежала, чуть не с собаками по всей Москве искали, нашли, срам сказать, в кабаке, с заторными девками. Песни пела!

Чего-то такого княгиня ожидала.

Аграфена, бледная, кое-как причесанная, в грязном платье, как-то неожиданно постарела. Дочери было тридцать восемь всего – а на что сделалась похожа? Впрочем, красавицей никогда не была – уродилась в покойного князя. Но мужчине можно быть хоть каким уродом – княгиню в свое время насилу уговорили идти с ним под венец, втолковывая, что уж этот строить куры придворным вертопрашкам не станет, на черта он им сдался. Однако князь нашел себе иное применение – не оставлял в покое дворовых девок. Но это была такая блажь, которой дамы обычно значения не придавали, вскоре смирилась и княгиня. Правду сказать, в молодости она себе позволила несколько интрижек, даже весьма опасных, но князь до самой смерти о них не догадался.

Ответить зятю было нечего – про дочкину склонность к выпивке княгиня знала. И виновника могла бы назвать – первый муж, от которого Лизанька, приучил. Но это она считала первого зятя виновником; полковник Афанасьев был уверен, что главный грех – тещин: вовремя не вмешалась, а потом, когда Аграфена овдовела, хитростью спроводила ее во второе замужество за человека, который еще не нахватался столичных сплетен.

– Ну, пусть поживет сколько-то времени у меня, – сказала княгиня.

– Развода я пока требовать не стану, хотя от жены-пьяницы меня Священный синод без лишней волокиты освободит. Я же уезжаю на юг – вышел мне указ служить на Днепровской линии. Там государыня велела ставить новые крепости от крымских татар, так я туда надолго. Гришу с Васей забираю с собой. Сперва сам поеду, малость обживусь, потом их ко мне привезут.

Речь шла о младших внуках, сыновьях Аграфены от полковника. Княгиня хотела было сказать, что разумнее их оставить в Москве под ее присмотром, но зять так нехорошо смотрел – она поняла, что решение он принял серьезное и не желает, чтобы парнишки видели пьяную или больную похмельем мать.

– А если к Лизаньке посватается хороший жених – так сами решайте, ваше сиятельство. Она мне была как дочь родная...

– Это уж само собой. О Лизаньке, голубчик мой, не тревожься – я о ней позабочусь. Девки, самовар тащите, стол накрывайте! – не так чтобы громко крикнула княгиня. Она знала, что вся женская дворня подслушивает за дверью.

– Недосуг нам, – хмуро сказала Марья.

Княгиня могла биться об заклад – мысль вернуть непутевую Аграфену в родительский дом пришла именно в Марьину голову.

– Вы засветло до Москвы не доберетесь. Слава Богу, есть чем угостить и есть где уложить гостей, оставайтесь. Не то впотьмах заедете в овраг или в ручей свой дормез опрокинете. То-то радости ночью из него выбираться! Мне как-то довелось – юбки до пояса промокли, – княгиня, вспомнив приключение, усмехнулась. – Располагайся, сударыня, как дома. А с тобой я еще поговорю!

Это относилось к Аграфене.

Задача стояла непростая – расстаться с зятем и его сестрицей хотя бы по-приятельски. Не то и впрямь через год-другой полковник потребует развода. Мало ли – другую невесту найдет, или Марья сама ему подходящую особу посватает. И куда прикажете девать Аграфену? В девичью обитель – грехи замаливать? А если мирно распрощаться – может, полковник там, на юге, соскучится по жене, вернется?

Марья позволила себя уговорить, хотя сперва кобенилась – муж и дети остались в Москве, ждут, а она укатила братние дела улаживать. Княгиня разумно расспросила ее и о

муже, и о детках, вспомнила, что не послала подарка на именины, тут же достала из шкатулки золотой бант-склаваж с большой розовой шпинелью и мелкими бриллиантами, выигранный в карты еще на Масленицу и припасенный для Лизаньки. Это подействовало – кое-как она разговорила угрюмую даму.

А потом, когда гости были и ужином покормлены, и по спальням разведены, она осталась наедине с дочерью и первым делом дала ей крепкую пощечину.

– Дура! Дура безмозглая! Без мужа останешься – что делать будешь? Кому ты, пьянюшка, нужна?!

Аграфена тихо заплакала. Потом стала каяться, клялась и божилась, что более – ни капли! Веры ей не было – княгиня знала, как спиваются бабы, в ее собственной деревне были две таких – от хозяйства отстали, детей забросили, цена их обещаниям была – медный грош в базарный день. Одна спьяну свалилась в ручей и утонула – развязала мужу руки, другая ушла за солдатами чуть ли не в Крым и пропала. Ей, может, и неплохо, а мужу каково? Пока про ее смерть не известят – другую хозяйку в избу привести не сможет. Княгиня знала от Агафьи, что к соломенному вдовцу бегают в потемках кумушка, но махнула на это дело рукой.

Она смотрела на хнычущую дочь и сама себе удивлялась – вроде и рожала эту дуру, и на руках носила, и позднее дитя – в тридцать четыре года после смерти двух младенцев рожденное, чудом выжившее, а жалости к ней более не было, вся жалость кончилась.

– Жить будешь в своих комнатах. Попробуешь уйти – сама выпорю, – пригрозила княгиня. – Вздумаешь моих людишек с толку сбивать – не обрадуешься! А коли станешь Лизку просить, чтобы из буфетной или из погреба хоть стопку принесла...

Тут княгиня задумалась – нужно было как-то так устроить, чтобы мать с дочерью вообще не встречались.

– Агаша, кликни ко мне Николку, – велела она. Ключница, зная, что будут распоряжения, ждала за приотворенной дверью.

Чуть погода в опочивальню пошел крепкий и статный выездной лакей Николка, поклонился в пояс.

– Ты, помнится, просил, чтобы я тебя на Марфутке женила, – сказала княгиня. Лакей безмолвно пал на колени.

– Будет тебе твоя Марфутка, слово даю. Но сперва – послужи как следует. Вот, видишь, дама? Признал? Жить эта дама будет у меня. А ты чтоб денно и ночью с нее глаз не спускал. Она хитрая – все пьяницы хитрые. Может сбежать. Твое дело – коли так выйдет, догнать и приволочь обратно, хоть за косу. Если при том ее поцарапаешь или синих пятен наставишь – наказывать не стану. Марфутка также будет за ней следить. Год вам даю. Справитесь – вот мое слово, тут же под венец. Первенца сама крестить буду. А ты знаешь – я к крестникам щедра. Ну, вставай, не порти штанов.

Лакей, поднявшись, не руку хозяйкину поцеловал – руку господу целуют, – а самый край подола.

– Слышала? – спросила княгиня Аграфену. – Вот то-то... Николка, проводи ее в угловые комнаты, в те, куда мебель из зеленых комнат я снести велела. Вот ключ. На ночь ее запрешь. Да – еще вели сторожу Никишке с сего дня ночью собак с цепи спускать.

– Собаками меня затравить хотите?! – воскликнула Аграфена.

– Будешь сидеть смирно, хвост поджавши, – никто тебя не затравит, – спокойно ответила мать. Прошло то время, когда она, плача, уговаривала доченьку не пить. Те слезы давно выплаканы, других не будет.

Аграфена выпрямилась и гордо вышла из материнской опочивальни, зато вошла Агафья.

– Матушка-барыня, дозволю сказать...

– Говори.

Ключница порой дельные советы подавала. Вот и теперь – сообразила!

– Матушка-барыня, Лизаньку поскорее бы замуж отдать, она девица спелая, а жених в наших краях знатный один только и есть. Граф Орлов, матушка-барыня...

– Жених-то жених, а как?..

– Лизанька-то красавица вышла. Вся в покойного Илью Петровича, а от вашей милости – носик пряменький, бровки. Граф увидит – сам догадается.

– Хорошо бы, Агаша...

Ключница, когда Аграфена, овдовев, два года прожила у матери, немало возилась с Лизанькой – знала, что барыня это увидит и похвалит. И сейчас тоже ждала похвалы.

– Торопиться некуда, – подумав, решила княгиня. – Жених наш теперь, поди, на конюшне живмя живет, с новокупкой своей повенчался. А мы вот что сделаем – как дороги высохнут, поедem в Москву, наберем в модных лавках блондов, лент, найдем там же швеек, нарядим Лизаньку по самой последней моде...

– Матушка-барыня, ни к чему это.

– Как так?

– Вокруг господина Орлова невесты выются, он увидит нашу красавицу расфуфыренной – сразу поймет, ради чего... А она скромница, глазки строить не станет. Она из тех, что вывези ее в богатый дом – забьется в гостиную в угол да весь вечер там и просидит.

– Твоя правда, Агаша! Совсем я на старости лет нюх потеряла. Ну, стало быть, не миновать нам с тобой плести интригу.

Ключница промолчала – не хотела напоминать, как двенадцать лет назад пустились на хитрость, чтобы отдать Аграфену за господина Афанасьева. Тогда ей сразу после венчания был царский подарок – вольная. Но уходить от княгини Агафьи не пожелала – годы не те, чтобы на воле новую жизнь начинать, а тут все уж налажено, есть свой уголок, и на старости лет пропасть не дадут.

По лицу хозяйки ключница видела – рождается замысел. И не простой, а хитрый. Но делиться с ней княгиня сразу не стала.

Обычно хозяйка говорила ключнице перед сном: «Ну, ступай, Господь с тобой», после чего молилась и ложилась. Агафье оставалось только убедиться, что кто-то из комнатных девок уже спит на тюфячке у дверей, чтобы по первому зову вскочить и примчаться. Но тут княгиня задумалась. Агафья ждала.

– Агаша, а что, сундуков, что мы тогда еще привезли, не разбирали?

«Тогда еще» – случилось шесть лет назад, когда княгиня затеяла заново устраивать свой московский дом на Пречистенке и всю скопившуюся рухлядь разом отправила в подмосковную – авось когда-нибудь выйдет время разобраться.

– Нет, матушка-барыня, а что? Надобно что?

– Да. Утром отыщи сундук, где лежат Павлушины обновы.

С княгиней случилось обычное для бабок недоразумение. Она ждала из столицы старших внуков Павлушу и Мавреньку, которых сын отправил к ней ради летнего отдыха и поправки здоровья – подмосковная-то погода не в пример лучше питерской. И, казалось, месяца не прошло, как она видела в Санкт-Петербурге четырнадцатилетнего Павлушку, бывшего одного с ней роста и почти одинакового сложения – мальчик рос крепеньким. А прибыл к ней в Москву настоящий кавалер – одному Богу ведомо, как можно за месяц прибавить полтора вершка росту. Приготовленные для него штаны, камзольчики и кафтанчики-жюстикоры были уже чуть маловаты, а к августу он и вовсе из них окончательно вырос, пришлось все новое шить. Павлушка уехал, гордясь своим новым телосложением, поступать в Преображенский гвардейский полк, куда чуть не с рождения был записан, а одежду, почти ненадеванную, огорченная княгиня велела убрать с глаз долой.

– Как велите, матушка-барыня.

– Стой! Не все еще! Завтра с утра пошли парнишку в деревню, пусть староста придет. Лизанька захочет по саду гулять, а у нас там который год две сухие липы торчат, стыдоба. Так пусть бы прислал мужиков с пилами, а потом пусть бы выкорчевали пни.

Утром княгиня проснулась очень рано, помолилась наскоро, выпила чашечку крепкого кофея и пошла в комнату, отведенную внучке Лизаньке. Девушка крепко спала, и бабка смогла ее внимательно разглядеть. Они не видались с Покрова – выходит, почти полгода.

– Ничего, на молочке от своих коровок, да на сливочках, да на яичках из-под своей курочки, что спозаранку собраны, сразу поздоровеешь и похорошеешь, – тихо сказала княгиня, недовольная бледностью и худобой внучки. – Голодом они, что ли, тебя морили? Просыпайся, светик, просыпайся, жизненочек.

Лизанька открыла глаза и испуганно уставилась на старуху в великолепном батистовом, с золотистыми блондами, чепце, в белой ночной кофте с шитьем, да еще в драгоценной турецкой шали поверх этого великолепия. Она не сразу вспомнила, что приехала к бабушке. А бабушка улыбалась, показывая новехонькие зубки из слоновой кости, которые не годились для еды, а лишь для улыбок.

– Вот и славно, что тебя привезли. Первой помощницей мне будешь. Поднимайся, помолись, позавтракаем вместе. Ты хорошо у меня заживешь. Тут не Питер, тут привольно. Каких хочешь заедок тебе из Москвы доставим, а варенья, печенья, пироги – все свое. Есть у меня один человечек, он на турецкой войне маркитантом был и наловчился готовить лукум и халву – лучше покупных! Покойный князь его туда отправил – так он знатный оброк привез, шали богатые, парчу, два дорогих кинжала. Не бойся, все плохое кончилось, теперь будет лишь хорошее, – пообещала княгиня. Нетрудно было догадаться, что в доме отчима, да еще при пьющей матери, девушке жилось несладко.

– Да, сударыня бабушка...

– Ты меня слушайся, мы превесело заживем. Ты ведь у меня красавица. Глазки темные, батюшкины, личико миленькое, волосики русые, матушкины, а румянец на щечках скоро наживешь. Летом отдыхать будешь, сил набираться, к осени учителей тебе найдем – танцевального, рисовального, клавишного. Я велела сюда завтрак подавать. С утра побаловать тебя, мой светик, нечем, кроме варенья и пирожков, а к обеду уж будет все, чего твоей душеньке угодно.

– Сударыня бабушка...

– Про матушку свою спросить хочешь? – догадалась княгиня. – Она тут будет жить, но встречаться с ней...

По тому, как внучка отшатнулась, княгиня сразу о многом догадалась. Она хотела сказать «встречаться с ней будешь по воскресеньям в храме Божьем», но решительно объявила:

– ...до поры вообще не будешь. Я обещала, что в жизни у тебя теперь будет одна лишь радость, я своему слову хозяйка. А ты мне скажи – ты лошадок любишь? Учили тебя конной езде? Я ведь задумала тебе верховую лошадь подарить, чтобы вместе с тобой на прогулки выезжать. Что ты так глядишь? Я смолodu на охотах первая наездница была. И теперь еще в седло сажусь, когда пожелаю.

– Я не умею, сударыня бабушка...

– У меня берейтор служит, англичанин, школит лошадей, он тебя научит. Государыня наша – и та конную езду любила, даже изволила ездить по-мужски. Может, и теперь ездит, да нам не докладывает. Покажи-ка ногу...

Откинув одеяло, княгиня с одобрением осмотрела тонкую девичью ножку.

– Икры у тебя, матушка моя, совсем тощенькие, ну да это дело наживное. Нога маленькая, мои сапоги будут впору. Агаша! Вели Аксютке отыскать мои прошлогодние сапоги, да пусть их даст Степке – смазать, начистить. Ничего, жизненочек, вон, глянь, и солнышко светит. Тебе здесь хорошо будет! Ты что покраснела?



– Стыдно...

– Что – стыдно? Голую ногу показывать? – догадалась княгиня. – Так я тебе не кавалер. Ну, ладно уж, садись да заворачивайся в одеяло! Фимка, Фимка! У меня в уборной, в комод, пукетовый шлафрок лежит, розами по альмандиновому полю, тащи сюда живо! Встряхни только сильнее – он травами от моли переложен!

И, отвернувшись, чтобы не смущать внучку, княгиня задумалась: как же уговорить такую скромницу надеть мужской наряд? Внучка была – залюбуешься, тихоня, слова поперек не скажет, но для той интриги, что задумала княгиня, надо бы ей быть побойчее.

Пока Агафья сама выставляла на круглый столик серебряный сервиз-дежене, как раз для завтраков на две персоны, княгиня перебирала в уме своих комнатных девок и остановилась на Дашке. Рыжая белокожая Дашка была не чужая – княгиня знала, что Матрена родила ее от покойного князя. Девка уродилась веселая и языкая, отменная певунья, – вот ее-то княгиня и додумалась определить в горничные к Лизаньке. То, что девушка дичится властной бабки, – понятно, а с Дашкой она будет себя чувствовать вольготно.

– Я тебе девку подарю, – сказала княгиня. – Будет за тобой ходить, как положено. А ты потом, как замуж пойдешь, возьмишь ее в мужнин дом и там за хорошего человека отдашь, и так она все время при тебе будет. Агаша, кликни там Дашку. Стыд и срам – привезли девицу даже без горничной девки.

Дашка явилась на зов и получила приказание – холить и лелеять свою новую хозяйку. Для начала – перебрать ее имущество и доложить, чего и сколько нужно поскорее нашить – рубах, юбок, ночных кофт, чепцов и прочего добра, которое в деревне могут быстро и без затей изготовить комнатные девки; потом, в Москве, все это придется купить в модных лавках.

Позавтракав, княгиня послала казачка Ваську сказать берейтору, что скоро явится на конюшню, так чтобы ждал.

Берейтора-англичанина княгиня наняла два года назад, в бытность свою в столице, соблазнив отличным жалованьем. Звали его Джон Макферсон, слугам было велено именовать Иваном Матвейчем. Хотя по-русски он за два года выучил десятка три слов, а княгиня по-английски – и того меньше, они на конюшне при помощи способного к языкам Васьки прекрасно друг друга понимали. Макферсону было велено готовить молодых лошадей для запряжки в легкий экипаж и в дрожки, учить их ровной и долгой рыси, не забывая и резвить. Княгине страх как хотелось летом самой править дрожками, зимой – саночками. Наступало время серьезной работы с лошадьми, зимой появились на свет жеребята, четверо красавчиков, которых сызмала нужно было правильно растить, требовали заботы однолетки и двухлетки. И главный вопрос – когда, по мнению англичанина, должна прийти в охоту княгинина любимица, четырехлетка Милка. От этого зависели многие важные и тайные планы...

### Глава 3

Лакей Николка имел от роду двадцать два года, был взят в дворню чуть ли не от сохи за высокий рост, статность и приятное лицо. И хотя родители благословляли княгиню, давшую их младшенькому необременительное ремесло и полное обеспечение, сам Николка только тягостно вздыхал.

Крестьянских парней женят рано, чтобы взять в хозяйство молодую работницу, до свадьбы не многим удастся погулять, и Николка уже в шестнадцать был согласен венчаться, в выборе невесты положившись на мать, – она бы вместе со свахами высмотрела красивую, работящую и смирную девку. Но пришлось спешно отдавать замуж старшую сестру, пока девичий позор не взбух под рубахой и сарафаном, а две свадьбы в одну осень семья бы не осилила.

На следующую осень случились в большом количестве похороны – померли дед с ветхой прабабкой да тяжело болевший младший братец Петруша. Опять же – не до сватовства. А потом княгиня-хозяйка высмотрела Николку и забрала его сперва в усадьбу, потом даже в самую Москву. Отданный под начало к старому лакею Игнатьичу, княгинину ровеснику, Николка быстро постиг лакейскую науку. Выучился держаться прямо, кланяться благородно, поднос с кушаньем носить красиво, двери экипажа отворять быстро и подножку спускать ловко, заучил полсотни французских слов, а когда освоился в дворне – влюбился. И, поскольку был он белокожий, голубоглазый и дородный молодец, то просто обязан был влюбиться в маленькую, смугленькую, черноглазую Марфутку. Она, как и Дашка, имела особое происхождение, – ее мать-кухарку обрюхатил француз, нанятый обучать музыке и танцам дочерей княгини, старшую – Прасковью и младшую – Аграфену. Княгиня даже не сразу прогнала затейника – не могла поверить, что образованный француз польстился на грязную бабу.

Смышленная Марфутка берегла себя для законного супруга. И все поползновения неопытного Николки легко отметала. Но парень ей нравился, и она очень хотела видеть его своим мужем. Княгиня же видела в девушке будущую старшую горничную, и вот выпал случай убедиться в верности своего выбора.

Решение княгини приставить Марфутку и Николку к охране дочки-пьяницы сильно обоих озадачило. Но княгиня рассчитала верно – эти двое так хотят повенчаться, что из шкуры вон будут лезть, лишь бы оправдать доверие.

Марфутка пришла вечером в каморку Агафьи и поклонилась ей недавно сшитой рубахой (как и полагается девице, Марфутка сама готовила себе приданое, всю тряпичную казну, на мать надежды было мало, а родной батюшка исчез в неведомом направлении). Ключница ловкой девушке покровительствовала, давая ей кое-какие поручения и расплачиваясь мелкими поблажками. Агафья помогла Марфутке составить план действий и собрать все необходимые предметы: мебель, белье, шлафроки для Аграфены, посуду и ночную вазу, а также сама позвала кузнеца Федора, чтобы сковал и вбил петли для замка. Она же, Агафья, надоумила забрать у Аграфены все опасное, на чем можно с тоски удавиться, включая подвязки для чулок, – пусть ходит в спущенных! И она же сама потолковала со сторожем Никишкой. Словом, отведенные непутевой Аграфене комнаты по строгости содержания вполне можно было сравнить с каким-либо из рavelинов Петропавловской крепости. Решеток на окнах не доставало, но окна глядели на задний двор, где постоянно бегают люди, ночью же носятся сторожевые псы.

А вот с речью к дворне обратилась уже сама княгиня.

– Если кто будет о наших домашних делах лишнее болтать – дознаюсь и так велю на конюшне ободрать – на спине черви заведутся!

Еще при покойном князе иному грешнику сполна доставалось – по два и по три месяца спина гнила. Так что угроза оказалась действенной – за пределами усадьбы никто не ведал, что там поселилась Аграфена. Про Лизаньку уже всюду толковали – ее княгиня свозила к соседям,

у которых имелись две девицы на выданье, – нельзя же девушке без подружек. Но Лизанька дичилась, шуток не понимала, слов модной песенки не знала. Когда же княгиня на обратном пути стала ее укорять, девушка расплакалась.

– Ох, доберусь я до мерзавки Грушки! – в сердцах сказала княгиня. – Дитятко росло, как подзаборная трава, а ей и горя мало! Лизка, не реви. Будешь еще в свете первой щеголихой и вертопрашкой!

– Княгиня-матушка, может, оно и хорошо, что скромница, – сказала, успокаивая хозяйку, Агафья. – На распутных-то девиц его сиятельство нагляделся, а тут такой невинный цветочек...

– Этого цветочка еще надобно на лошадь взгромоздить... – проворчала княгиня. – Как там мое чадушко, окошко выставить не пробовало?

– Я велела их милости молитвослов принести. Чем в окошко глядеть, пусть Богу молится, – ответила Агафья.

– И то дело. Уж не знаю, что эта пьянюшка вымолит... Агаша, вот что – молебен нужно отслужить! Во здравие! И тащи мои сапоги – сама на конюшню пойду.

При большой, на три десятка лошадей, конюшне был старый сенной сарай, в котором княгиня велела устроить зимний манеж, чтобы делать лошадям проводку, гонять их рысью и галопом. Своего англичанина она там и обнаружила – он с помощью двух конюхов учил рыси-пиаффэ рыжую кобылу Темку. Темка, по его мнению, была очень способна к венской школе езды, имела сильные задние ноги, и он обещал за год так ее приготовить, чтобы можно было выгодно продать хоть какому знатоку. Княгиня берейтора обрадовала – никаких продаж, готовить Темку под внучку Лизаньку, а Лизаньку учить обхождению с Темкой. Но, чтобы неопытная наездница не испортила кобылу, сперва дать ей под верх Амура.

Амур был старый опытный конь, который сам кого хошь мастерству выездки поучит, безупречно исполнял все аллюры, и мистер Макферсон согласился. Правда, усомнился в способностях Лизаньки к вольтижировке. Он хвалился тем, что служил в лондонском амфитеатре Филипа Астлея, а уж там наездников школили отменно, и с помощью казачка Васьки он донес до княгини простую мысль: если ученик не желает правильно ездить, то обучить его можно разве что унылому сидению в седле на рыси и на галопе, не более, лошадь же его слушаться не станет, лошадь сразу отличит опытного всадника от неопытного.

– Пожелает... – буркнула княгиня. И пошла смотреть Милку.

Милка спокойно стояла в стойле, услышав шаги хозяйки, поставила уши, потом хватала губами за рукава – просила угощения.

– Умница моя, – сказала ей княгиня и обняла за шею. Милкин ум выражался в том, что кобыла не пришла в охоту, пока еще не была сплетена интрига.

Потом княгиня обсудила важнейший вопрос о починке легких дрожек, в которых рассохлось деревянное сиденье и кое-где покрылись пятнами ржавчины рессоры. Третьим заданием Макферсону было – самому проехаться по окрестностям и наметить дорожку, где можно резвить шестерку молодых лошадей. Зимой этим заниматься было несподручно, а летом – самое время. Еще княгиня желала поставить в дальнем конце загона большой навес, и под ним – кормушки. И, наконец, вышел легкий спор – когда начать выводить лошадей в ночное...

Англичанин оказался прав – когда Лизаньке принесли мужской наряд и сапоги, девушка разрыдалась.

– Стыдно... – только этого слова и добилась от нее княгиня.

– Государыне носить штаны было не стыдно, покойной государыне – не стыдно, а ты их стыдливее быть желаешь? – разозлилась княгиня. – Кто тебе в голову этот вздор посадил? Целомудрие не в том, чтобы юбку носить. Вон в столице вертопрашки носят юбки и имеют каждая по десять любовников!

О том, что к любовнику лучше тайно бегать в мужском платье, княгиня умолчала. Брать с собой горничную, которая поможет управиться со шнурованием, нелепо, предаваться страсти,

не снимая тяжелой робы и нижних юбок, можно раз в год, не чаще, а кафтанчик-жюстикор, камзол и штаны скинешь за две минуты, потом за пять минут наденешь, и прекрасно!

Агафья присутствовала при этом разговоре и первая додумалась о корне беды.

– Княгиня-матушка, тут не в девической скромности дело. Она ведь на материнских подружек нагляделась, на все их шалости, и из упрямства решила, что нужно все делать наоборот...

– Норов, значит, показывает? Но ведь редкая скромница.

– В свете не бывала, оттого и скромница. Помяните мое слово, матушка-княгинюшка, Лизанька еще в монастырь попросится – материны грехи замаливать.

– Как там эта матушка-пьянюшка?

– Сидит взаперти, плачет, а то в дверь биться пробовала.

– Ничего, ей полезно. Пусть поймет – с ней тут шутить не станут...

Лизанька, которой суровая бабушка дала поплакать вволю в полном одиночестве, кое-как успокоилась.

Она понимала, что под бабушкиным надежным крылом ей будет лучше, чем в доме, где отчим постоянно орал на мать, мать из упрямства еще более колобродила, а братцы устраивали всякие пакости. К тому же отчим, приказывая ей собираться в дорогу, прямо сказал:

– Тебе бы лучше там и остаться, чтобы бабка из своего дома и замуж отдала. Перечить ей не смей – хорошего жениха сыщет. Женихов выбирать она мастерица...

Лизанька, как все юные девицы, замуж хотела. Она пока еще не разделяла своего желания на две части: хотеть пышную свадьбу и хотеть изо дня в день быть женой мужчины – отнюдь не одно и то же. Она к тому же плохо представляла себе правильную семейную жизнь, без воплей и ругани. И, будучи по природе робкой, она готова была покориться любому бабушкиному решению.

Неожиданная затея посадить внучку в седло Лизаньку не на шутку испугала. Девушка боялась лошадей – но она и собак с кошками тоже боялась. Если бы княгиня догадалась подарить внучке хоть щегла в клетке – живое существо понемногу примирило бы ее с миром бессловесных тварей, что с крыльями, что с копытами. Но княгиня торопилась – очень скоро можно будет устраивать конные прогулки, и к графу Орлову поедут из Москвы кавалькады гостей, в мае, как зацветут черемуха и сирень, самая радость – в конных прогулках. Москва графа любила – и вполне искренне, и из своего давнего желания противоречить Санкт-Петербургу: если государыня аккуратно удалила Алехана Орлова от своей персоны, значит, Москва примет его с распростертыми объятиями. И Москва наверняка уже заготовила графу дивизию расфранченных невест.

Княгиня очень хотела заполучить Орлова в родню. Тогда ворота его конюшен будут для нее открыты. Она сможет купить у графа тех лошадей, что ей необходимы, составлять пары, получать отличный приплод. И то, что граф отказался слушать своего драгоценного жеребца с Милкой, только подстегивало княгиню. Если устроить эту свадьбу – драгоценный жеребец покроет не одну только Милку, но и Темку, и тех молодых кобылок, что еще не пришли в нужный возраст. А что до Лизаньки – пусть всю жизнь будет благодарна за такого супруга. Граф не только сказочно богат, но и добр, и уживчив. Главное – хоть двух сыновей ему родить. А тогда ни в чем отказа не будет, и за границу жену повезет, ко всем дворам представит, и в самой Италии снимет, а то и купит для нее и деток дворец.

Разумеется, Лизанька не подозревала о лошадиных затеях бабки. Первое, что ей пришло на ум, – как можно реже попадаться на глаза властной старухе, авось та забудет про уроки верховой езды. Этот маневр хорошо помогал в отношениях с матерью, но мать спяну не помнила, что говорила и делала в трезвом состоянии, а, протрезвев, – что вытворяла под хмельком.

Первые уроки и мужской костюм вместе сильно не понравились Лизаньке; из уважения к ее девичьей робости бабушка выпроводила англичанина и сама командовала, но внучка путала

«право» и «лево», чуть что – сжималась, как котенок, вцепившись в Амурову гриву, и княгиня однажды даже накричала на нее.

Поскольку Лизанька раньше бывала в бабкиной усадьбе, то знала про флигель, который обычно пустует. Между господским домом и этим флигелем был крытый переход, и девушка, зная, что там не топят и потому даже в мае довольно сыро, накинула на плечи шубку, взяла мешочек с рукоделием и ушла от греха подальше – пока не позвали на конюшню да в манеж.

Но во флигеле она обнаружила Амалию Гавриловну.

Немка, видя, что княгиня опять не в духе, убралась в свою душистую комнатку с рабочей корзинкой, полной лоскутков, ленточек, моточков кружева, хлопчатой бумаги и прочего добра для изготовления саше. У нее там были и бумажки с узорами, и небольшие круглые пяльцы. А у Лизаньки в мешочке – клубки и крючок, чтобы вязать тамбурное кружево.

Сперва они обе немного испугались, потому что были тихи, скромны и застенчивы, потом понемножку разговорились. А когда показали друг дружке свое рукоделие, то и вовсе хорошо поладили. Амалия была в княгининой свите одинока, Лизанька не имела в усадьбе ровесниц, с кем можно было бы сойтись, и обе были счастливы своей неожиданной дружбой. К тому же Амалия, в тридцать два года считавшая себя безнадежной старой девой, сохранила девичий взгляд на мир и девичьи повадки, костыль тут ничего не мог изменить.

Говорили они на причудливой смеси языков – Амалия на немецком, вставляя русские слова и целые французские фразы, а Лизанька на русском, вставляя немецкие слова и французские фразы. Но Лизаньке удалось поделиться своим горем.

Амалия сумела ей растолковать любовь княгини к лошадям и необходимость подлаживаться к бабке, как подлаживалась она сама. В итоге два дня спустя Лизанька подошла утром к княгине – поцеловать ручку и осведомиться, хорошо ли спалось, а потом сказала, что хорошо подумала и готова учиться. Правда, умоляла, чтобы позволили ездить в юбке, и княгиня решила – пускай, сама потом убедится, что мужская посадка требует штанов. По замыслу княгини, Лизанька, тоненькая и стройная, как березка, должна была предстать перед графом не в тяжелых юбках, скрывающих ноги, и не с полуоткрытой грудью – там пока похвастаться было нечем.

Так что в усадьбе воцарился мир, Макферсон обещал в десять уроков добиться от ученицы успехов, но потребовалось целых пять, прежде чем девушка освоилась с Амуром настолько, чтобы давать ему подкормку с ладони.

Уроки конной езды были у Лизаньки по утрам, а днем она выходила с Амалией погулять в сад, несла ее корзинку и слушала рассказы о травках и цветах, пригодных для саше. По крайней мере, так полагала Агафья.

Когда она рассказала княгине про эту неожиданную дружбу, та расхохоталась:

– Вот тоже нашла себе Лизка подружку с костылем!

– Они там, в саду, все шепчутся да смеются, княгиня-матушка. Мне Дашка доносила.

– Смеются? Это превосходно. Коли немка умеет ее развеселить – и славно! Я уж боялась, что она вовек смеяться не научится. А графу вряд ли по душе постные рожи.

– Барышне бы подружек из хороших семей.

– Сама знаешь, пробовала я. Ну, немка, ну и что же, нужно же ей с кем-то шептаться о кавалерах.

– Какие уж тут кавалеры, княгиня-матушка...

– И хорошо, что их нет, некому девицу с толку сбивать. Пусть уж бродят по саду и сидят у пруда, лягушек слушают. Кстати о кавалерах – ну-ка, вели, чтобы ко мне прислали Фроську!

Фроська, стоя на коленях, доложила – как в новом сарафане, да в дорогих монистах, да с алой лентой в косе побывала на Георгия Победоносца в островском Преображенском храме на благодарственном молебне, после которого батюшка окроплял святой водой нарочно приведенных на площадь перед церковью породистых лошадей и знаменитого жеребца, так туда и

повадилась на воскресные службы, да и не только, свела дружбу с бабами и девками, дарила их ленточками и бусинами для кокошников, и уж через них – с конюхами. А поскольку у всех на уме жеребец Сметанка, разговоры – лишь о нем, то Фроська готова хоть сейчас все пересказать.

– Что ж ты, дуреха, молчала?!

И Фроська вывалила все новости – в меру своего разумения. Похвалилась она также недавними знакомствами среди конюхов, чем даже насмешила княгиню.

– Коли что – обещай деньги, хоть до ста рублей, – приказала княгиня. – И скажи – кто мне послужит, о том я позабочусь изрядно. Выкуплю и вольную дам, поняла? Но не сразу брякай, как бы до графа не дошло... Агаша, возьми там в шкатулке полтину, дай Фроське.

Потом княгиня устроила совещание с англичанином и затеяла пить чай на английский лад. К чаю она решила позвать внучку. Погода была нехороша, собирался дождь, а Лизанька с Амалией пропадали в саду.

– Совсем немка от рук отбилась, нужно ее малость пожурить. Вышивание забросила, а я ее для чего держу?! Васька! Беги, сыщи немку и барышню! Скажи – я велела звать! Да шаль возьми, барышню закутать!

Казачок поклонился и помчался в сад.

Во всяком саду непременно должен быть хоть какой пруд – так издавна повелось. Польза от пруда была одна – если, не приведи Господь, пожар, так есть откуда воду таскать. Иные хозяева разводили рыбу и баловались, сидя на берегу с удой, но княгиня этой радости не понимала. В ее пруду обитали главным образом лягушки, да стояла посередине ветхая беседка, к которой вел чахлый мостик. Княгиня все собиралась поставить новую беседку, чтобы летними вечерами там ужинать, но всегда находилось иное употребление деньгам и лесу. Конюшня с породистыми лошадьми – дорогое удовольствие.

Васька знал, что немка с княгининой внучкой часто сидят в беседке. Им там дождик не страшен, и они видят, если кто подходит к мостику.

На сей раз хозяйкино поручение было выполнено как-то странно. Лизанька даже не пошла, а выбежала навстречу казачку.

– Сударыню бабушка звать изволит, – сказал Васька и протянул шаль.

– Поди, ступай, скажи – сей же час буду, – ответила Лизанька, принимая шаль.

– И Амалию Гавриловну тоже...

– Амалия Гавриловна со мной придет. Поди, поди! – требовала Лизанька, и Васька удивился – до сих пор скромница чуть ли не шепотом с ним говорила.

Амалия Гавриловна уже так наловчилась обходиться с костылем, что шустро одолела мостик. Сама ли она выдумала эту ухватку, или ей кто подсказал, но она, когда хотела передвигаться быстро, брала костыль обеими руками, утыкала его в землю перед собой и делала здоровой ногой, поджав больную, довольно длинные прыжки. Вид это имело – как будто немка скачет верхом на костыле.

Допрыгав до Васьки, немка сунула руку в потайной карман юбки и достала вышитый бархатный кошелечек.

Оттуда был добыт гривенник.

– За труды тебе, – сказала казачку Амалия.

Если бы с небес опустился белокрылый ангел и заиграл на арфе – Васька меньше бы удивился. Он знал, что княгиня своих приживалок деньгами не снабжает: на кой им, если все необходимое имеется, и пропитание, и обноски с хозяйского плеча? А если к ним и попадали деньги, то тратить на подарки дворне они уж точно бы не стали. Опять же, Амалия Гавриловна – немка, а всем известно, что немцы скупы. И до сих пор она даже комнатным девкам грошовой ленточки не подарила. А тут – целый гривенник!

Но философствовать Васька не стал, а гривенник принял с поклоном и умчался – докладывать княгине, что барышня с немкой сейчас будут. Амалия и Лизанька пошли следом, что-то друг дружке нашептывая.

Никто не догадался обратить взгляд вверх. А там, вверху, в окошке второго жилья, виднелись очертания фигуры. Непутевая Аграфена внимательно следила за беседкой...



## Глава 4

По вечерам княгиня скучала. Она заставляла приживалок рассказывать занимательные истории, но запас историй иссяк. Она заставляла их также читать вслух книжки, но читали они ужасно, спотыкаясь и делая паузы в неожиданных местах. Лизанька читала хорошо, но не все книжки из княгининой библиотеки следовало ей показывать; творения господина Креби-льона, которые княгиня еще в молодости полюбила, могли бы основательно смутить внучкину невинность. А из всего творчества господина Дидро, уважаемого самой государыней, княгиня держала дома только «Нескромные сокровища», книжку увлекательную, лихую, но написанную отнюдь не для девиц.

Немного развлек ее донос лесника: кто-то повадился стрелять днем в лесу, там, где дорога для экспедиций за дровами.

– Ну и леший с ним, пускай стреляют, – беззаботно ответила княгиня, предположив, что это люди графа Орлова за кем-то охотятся. Ссориться с графом из-за такой чепухи, как подстреленный в ее владениях вальдшнеп или перепел, она не желала. Да и поди на слух определи, в чьих владениях.

День выдался суматошный. Кроме прочих дел, княгиня велела натянуть на себя сапоги и самолично проездила красавицу Милку сперва в манеже, потом по дорожке в рощице. Лизанька ехала рядом на Амуре и дивилась – как бабушка, которой за семьдесят, отменно держит спину на галопе, да еще улыбается. Это было для нее более весомым поучением, чем все разговоры о пользе конной езды. Но вот сползала с седла княгиня медленно и осторожно – прыгать более не могла.

Предвидя завтрашнюю боль в ногах, княгиня после ужина капризничала, прервала Лизанькино чтение, наконец захотела составить карточную партию, приживалки обрадовались, карты были розданы, и тут явился старый лакей Игнатич.

Он жил при княгине на покое, когда требовалось – школил молодежь и развлекался беседами на французском языке с офицерской вдовой Болотниковой; он же исполнял некоторые поручения княгини, которые она не желала доверять молодежи, и вместе с Агафьей наблюдал за порядком в усадьбе. Но если Агафья толковала с княгиней наедине, то Игнатич часто высказывал свое мнение прямо при всех.

Вот и сейчас он не побоялся нарушить игру, а сказал:

– Проезжие люди, матушка, ночлега просят.

– Что за люди, какого сословия? Коли простого – сам распорядись, а мне не мешай.

Игнатич сделал жест, означавший: сам не пойму, какого сословия, а люди не простые.

– Проси, – велела княгиня, почуявшая хоть какое-то развлечение.

В гостиную вошел мужчина такой наружности, что Лизанька, поглядев на него, даже съежилась: высокий, статный, плечистый, но урод редкостный. Одет урод, впрочем, был прилично: княгиня оценила хорошо пошитый кафтан и камзол к нему, скромный галун по бортам, да и перстень на пальце – алмаз на подложке из голубоватой фольги, окруженный, кажется, мелкими сапфирами, света в гостиной не достало, чтобы лучше разглядеть.

– Сударыня, простите, Христа ради, – сказал он, – не имею чести вас знать... добрые люди на дороге сказали, что не откажете... Рекомендуюсь – Екатеринославского гренадерского отставной поручик Эккельн.

– В чем состоит ваше дело, господин Эккельн? – любезно спросила княгиня.

– Я везу в Москву друга своего, тяжело больного, в надежде на московских врачей. В пути ему вдруг стало совсем худо. Боюсь – не довезем. На коленях молю – позвольте его сюда перенести, отведите нам хоть какой уголок. Я чай, мы его растрясли дорогой... может, полегчает?..

– Да, сударь, конечно, – ответила княгиня. – Агаша, распорядись – пусть девки приберут комнату во флигеле.

И тут подала голос Лизанька.

– Сударыня бабуленька, флигель зимой не топили, там сыро, – сказала она. – Нехорошо больного человека там держать!

Княгиня удивилась безмерно – внучка сама почти никогда к ней не обращалась, а при посторонних вообще помалкивала, смотрела в пол да краснела. Однако девушка была права – и княгиня велела отвести неожиданным гостям другую комнату, неподалеку от апартаментов Глафиры. Как хорошая хозяйка, она пошла сама встретить болящего.

Его внес на руках здоровенный бородатый кучер. Друг Эккельна оказался молодым человеком, лет не более тридцати, худощавым и бледным. За кучером шел с дорожным сундучком еще один человек – невысокий, черноглазый, горбоносый, тоже лет тридцати, по всей повадке – лакей, смысленный и, сдается, вороватый. Ибо честный человек так в пол не глядит и глаз не прячет.

Приживалки подняли вокруг больного суету, и княгиня сердито шуганула их: страдалец едва выговорил несколько слов благодарности, норовил закрыть глаза и отрешиться от всего земного, а они подробностей хворобы домогались.

Лизанька сама следила, как девки стелют постели, как вносят и расставляют все необходимое для ночлега, и, набравшись отваги, спросила урода, угодно ли ему отужинать. Тот поблагодарил и, смущаясь, попросил принести ужин в комнату, а кучера покормить на поварне и предоставить ему хоть уголок на полу в людской, а войлок для подстилки у него свой есть. Тогда Лизанька спросила, не нужно ли чего приготовить нарочно для больного. Урод, чуть не краснея, спросил горячего куриного бульона.

Княгиня только дивилась. Она не знала, что этот светловолосый страдалец – едва ли не первый молодой человек, с кем девушка оказалась в одной комнате. В доме отчима Лизанька видела только его приятелей да подружек матери, в свет ее не вывозили, учителей наняли старых, как Мафусаил. И если бы Лизаньке сказали, что умирающий путешественник ей понравился, она бы удивилась и растерялась; ей самой казалось, что в сердце проснулось обычное христианское милосердие, и она очень радовалась, что способна на столь возвышенное чувство...

За суетой княгиня совершенно забыла про Амалию. Она и вообще-то не слишком часто вспоминала о немке. Тем более, что Амалия норовила забиться в уголок со своим костылем. И одевалась бедняжка так, чтобы поменее привлекать к себе внимание, и лицо имела тусклое, невыразительное, волосы – блекло-серые, брови и ресницы – светлые, почти невидимые, румянец был смолоду, но пропал.

Амалия тоже оказалась в комнате, где укладывали в постель больного. Но оказалась неприметно – как будто мышка прошмыгнула, и даже костыль об пол не стукнул. Она издали наблюдала за Лизанькой и тихо улыбалась – как будто за улыбку широкую, радостную ей могло влететь от княгини и от прочих приживалок.

Приживалки же поглядывали на господина Эккельна. Каждая для себя определила его возраст – под сорок или чуть более, каждая сопоставила этот возраст со своим. Внешность, которая так испугала Лизаньку, им показалась по-своему привлекательной – этакому красавчику трудно найти жену, но женщина разумная, не глупая девочка, в приятных женских годах вполне может составить его счастье. Хорошо, что догадливая княгиня заметила эти амурные маневры и выставила приживалок из комнаты, да и внучку за руку увела.

Лизаньку уложили спать, а вскоре Агафья зашла к княгине – пожелать благодетельнице доброй ночи.

Она подождала, пока княгиня, стоя коленями на бархатной подушке, уложенной на скамеечку, вычитает вечерние молитвы, и тогда сказала:

– Лизанька-то не спит. Пукетовый шлафрок надела да в каморку к немке побежала.

– И что тут удивительного. Гости какие ни есть, а кавалеры, – ответила княгиня. – Нужно же подружкам пошептаться. Не знаю, что немка смыслит в кавалерах, а Лизаньке о них потолковать полезно и приятно. Девица-то на выданье, должна любопытствовать... Ступай, Бог с тобой.

Агафья, занятая устройством гостей, забыла приготовить свое питье, которое обеспечивало долгий и спокойный сон. Повозившись, прочитав молитвы и поняв, что сон нейдет, она решила прогуляться по усадьбе и посмотреть, нет ли визитеров в девичьей: весна как-никак, у девок одно на уме, а ей, Агафье, все эти шалости потом расхлебывать.

И она действительно обнаружила поблизости от людской нечто неожиданное.

Рано утром она вошла в спальню княгини и, опустившись у изголовья на колени, зашептала:

– Княгиня-матушка, беда...

– Что еще стряслось?..

– Люди эти, что вы приютить изволили, – они воры!

– Как – воры? Что ты врешь?

– Право слово, воры! – Агафья перекрестилась. – Они промеж собой не по-русски говорят! По-немецки!

– Ну и что? – княгиня спросонья не поняла всей важности сообщения.

– При нас – по-русски, а ночью этот господин Эккельн со своим кучером Трофимом по-немецки шептался!

– С кучером – по-немецки? И тот отвечает? – удивилась княгиня.

– Да, да! Жаль, я ничего не поняла. У них, видать, уговор был – ночью этот господин Эккельн к людской подошел, а Трофим в одном исподнем к нему вышел, и они шептались... И тот, кого на руках принесли, только прикинулся больным – для жалости!

– Воря мне тут еще недоставало... Агаша, ты с них глаз не спускай и Игнатьичу вели! Они поймут, что их раскусили, и сегодня же уберутся – коли они и впрямь воры. А ежели тебе ночью померещилось... ежели тот кавалер и впрямь помирать собрался...

– Не померещилось, княгиня-матушка!

– Болящего из дому выбрасывать – грех. Поняла?

Княгиня имела свое понятие о грехах. Всякий должен быть чем-то искуплен. Так она забрала к себе Амалию, считая, что в несчастье есть и ее вина. При этом саму немку она спросила в последнюю очередь, а переговоры вела с ее отцом и бабкой. Грехи покойного князя Чернецкого расхлебывала по мере возможности – князюшка, царствие ему небесное, оставил с полдюжины деток от дворовых девок, и княгиня им покровительствовала.

– А коли прикидывается?

– Надобно спсылать Игнатьича в Братеево, там у кузины Прасковьи лекарь живет, так чтоб прислала хоть на день.

Кузине было почти восемьдесят, и ей дешевле обходилось содержать своего лекаря, чем ради каждого прыщика ездить в Москву. В Москве даже для старухи – одни соблазны, накупишь всякой дряни, а потом сиди да ругайся: на кой ляд?! А лекаря четырежды в день покормишь за особым столом, не господским, но и не людским, да в месяц восемь рублей, да свои девки сошьют исподнее и обстирают, да привезешь ему шелковых чулок, чтобы в шерстяных не ходил, хозяйку не позорил...

Игнатьича кузина знала чуть ли не полвека и уже считала за приятеля, невзирая на его крепостное состояние. Его она должна была послушать.

– Кто же останется за ворами следить?

– А я сама! – весело воскликнула княгиня. – Немецкий язык, слава те Господи, знаю, наша немка забыть не дает, а сидеть у постельки да питье подавать – самое богоугодное дело. Это, пожалуй, рубля два милостыньки, что возле церкви подаешь, заменит.

И она действительно, одевшись попроще, пошла сидеть у постели бледного и тощего молодого человека.

Княгиня знала толк в кавалерах. Про этого она подумала так: от природы тонкая кость, рожица с кулачок, но руки приятного вида, и в плечах, кажись, не слишком узок; опять же, светлые волосы сами выются. Будь ее воля, она бы прописала такое лечение: каждое утро – верховая прогулка часа на два, чтобы основательно надышаться свежим воздухом, перед обедом – длительный променад, чтобы за столом не тосковать, а есть, как изголодавшийся дровосек; затем, ежели погода позволяет, сон в саду под яблоней, и опять променад. Никакого избыточного сидения в комнатах за книжками, а сговориться с соседом, страстным охотником, и дважды в неделю выезжать с ним, носиться по лесу до полного изнеможения. И еще перед каждой трапезой – стопка «ерофеича».

Об одном княгиня жалела – что раньше к фавориту Гришке Орлову опасная хворь не прицепилась. Тогда бы и лекаря, изготовлявшего целебную настойку, к нему раньше привели, и весь столичный высший свет о ней узнал тоже, соответственно, раньше. Настойка вошла в моду, а поскольку имела сложный состав и требовала неоднократной перегонки хлебной браги, то была по карману только людям зажиточным. Разумеется, и у княгини имелись полуштофы темного стекла с «ерофеичем», но она от природы была здорова, лечиться вроде было не от чего. Принятая перед обедом рюмка вызывала зверский аппетит – так ведь и отсутствием аппетита княгиня не страдала. Но иногда было ей приятно выпить настоячки – так сказать, полечиться впрок. Доставалось господского «ерофеича» и Агафье, и Игнатичу, о чем сразу делалось известно всей дворне. Для ключницы стопка из княгининых рук была чем-то вроде ордена, а Игнатич бывал угощаем, когда хозяйке казалось, что старик плохо ест и худеет.

Но переводить ценное снадобье на вора княгиня вовсе не желала.

Болящий хватался руками за виски и даже постанывал. Когда она неожиданно обратилась к нему по-немецки – ответил не сразу, но вполне внятно. Пришедший посидеть с другом господин Эккельн перевел беседу на русский язык, что показалось княгине подозрительным; она стала поминать известных в столице знатных господ и даже сказала несколько фраз по-французски; по глазам гостя было видно, что он плохо понимает, о чем речь. Хотя его любезное обхождение показывало господина воспитанного, не дикого помещика из Заволжья, который едва читает по складам. Словом, основания для беспокойства имелись.

Дворня получила строжайший приказ – в переговоры с гостями не вступать, что им нужно – объявят ключнице Агафье. Когда ключница сменила хозяйку у постели болящего, княгиня пошла к себе в кабинет и велела подать туда котлетки, ломоть хлеба с икрой, другой – с вяленой осетриной, да кофей. Не успела приступить к трапезе – прибежал казачок Васька с приятнейшим известием: кобыла Милка входит в охоту, и очень скоро будет готова принять жеребца.

– Беги, отыщи мне Фроську! – велела княгиня.

Фроську нашли не сразу – в коровнике она теперь не каждый день появлялась.

Когда она прибежала, княгиня спросила:

– Точно ли у тебя рыбка на крючке?

– Точно, матушка-барыня.

– Докладывай.

– Их четверо, кроме дяди Степана, ну так он женат, да у него и кума есть, бегают к нему на конюшню, он ее водит на сеновал. Ему дай Боже с этими двумя управиться. Так одному детине меня подавай, другому, сдастся, лишь деньги надобны, третий на мне хоть сейчас жениться готов, у четвертого невеста, да он не прочь... Извертелась я, матушка-барыня!

– Тому, кто до денег охоч, обещай сто рублей, как я говорила. Начнет жаться да охать – полтора! Поняла? И как рыбка клюнет – подсекай. Да поскорее! Пусть он сам придумает, как с теми тремя управиться. Поняла?

– Все поняла, матушка наша... да боязно...

– Эх когда спохватилась! Ступай! Ты меня знаешь – наградить сумею.

О награде княгиня уже думала. Если конская свадьба окажется успешной, то орловские конюхи болтать не станут, ибо рука у графа тяжелая, а вот Фроська может сдуру похвалиться своей ловкостью. У княгини была в столице знакомица-француженка, хозяйка модной лавки. Если отвезти к ней шалаву Фроську, приставить девку к мытью полов и тасканию дров, то получится, что девка отпущена на оброк, и ту часть ее жалованья, что служит оброком, княгиня будет выбирать в лавке лентами и пряжками – уму непостижимо, как стремительно дворовые теряют пряжки от парадных туфель... Для деревенской девки, привычной к тасканию тяжестей, служба в лавке – вроде отдыха, а там бывают кавалеры, лакеи из богатых домов; глядишь, и найдется дуралей, посватается... да она не дура, подцепит там женишка, который знать не знает о ее сельских шалостях...

Выпроводив малость растерявшуюся Фроську, княгиня пошла на конюшню – провести Милку. В манеже у конюшни она обнаружила внучку, скакавшую по кругу коротким галопом. Лизанька уже научилась держать Амура в сборе – или же Амур, идя в правильном сборе, учил Лизаньку верным ощущениям на этом аллюре. Мистер Макферсон кое-как объяснил, что ученицей доволен и скоро будет, как уговаривались, ее водить по лесу, по тропам с опасными поворотами. Увидев бабушку, Лизанька заставила коня сделать вольт и подъехала к княгине. Та прямо залюбовалась ловкостью внучки.

– Бабуленька, голубушка! – воскликнула внучка удивительно громко. – Я чуть не час каталась, и мистер Макферсон мною доволен! И вот я – в мужском наряде!

– Жизнечок мой, цветик! – ответила княгиня. – Уж как ты мне угодила! Чего хочешь проси – сережек новых, или блондов, или туфелек, или хоть... хоть клавикордов проси, велю из Москвы доставить, наши совсем расстроены. Нот велю привезти, модных картинок!

– Бабуленька, не нужно картинок... Можно, я к гостям пойду? Не одна – с Агафьюшкой? Вдруг у них в чем нужда?

– Вот оно что... Можно, Лизанька! – сразу позволила княгиня, имея на уме: девица, непривычная к мужскому обществу, чего доброго, испугается галантностей Орлова-Балафре и погубит такой замечательный план. Пусть привыкает потихоньку. Ведь мистера Макферсона она явно мужчиной не считает, если расхаживает при нем в штанах. Подозрительные людишки, ну да ладно. Агафья – не дура, ничего лишнего не позволит.

Игнатич съездил к кузине Прасковье, привез лекаря с целым сундучком микстур. Лекарь исследовал страдальца, объяснил, что тот ослаблен от скверной дороги и сердечного недомогания, велел выпивать крепким бульоном, а смертельных хвороб не обнаружил. Он уехал, обещав составить подходящие микстуры – и действительно, кузина Прасковья прислала их с верховым.

Через день больному настолько полегчало, что он был готов двигаться в дорогу.

Гости долго раскланивались, благодарили, благословляли и с утра пораньше двинулись в путь – Агафья нарочно велела дворовому парнишке забраться на дерево и смотреть, куда покатили. Покатили они в сторону Москвы, и Агафья вздохнула с немалым облегчением.

Но, пока княгиня плела интригу, чтобы поймать в сети Гименея неуловимого до сих пор графа Орлова, пока готовила к подвигам внучку да пропадала на конюшне, пока налаживала свадьбу жеребца Сметанного и кобылы Милки, ее младшая дочь строила планы побега.

Пьяницы бывают порой очень хитры, и хитрость в них сочетается с полным безрассудством. И муж, и мать не догадались забрать у Аграфены золотой нательный крест, выдав вза-

мен хоть оловянный. Она знала, что в трактире и в любом кабаке этот крест охотно примут – а там хоть трава не расти. Все ее тело, и сердце, и душа требовали выпивки.

Аграфене было тридцать восемь лет – возраст, когда еще не все потеряно. Она еще могла нравиться мужчинам. И она с самого начала составила план – убежав из усадьбы, продать крест, отвести душеньку хоть на почтовой станции с пьяными ямщиками, а потом пробираться в Москву. Были у нее там подружки, еще не совсем утратившие человеческий образ из-за пьянства, с виду – почтенные жены и матери, пившие втихомолку, а родня тоже об этом не орала во всю ивановскую. Кто-то из подружек мог бы на первых порах приютить, а дальше – как Бог даст. Может, сыщется богатый человек и захочет жить с Аграфеной. Дважды побывав замужем, она знает, как угодить сожителю.

Аграфена попросила пяльцы и шерсть – собралась вышивать подушку. Княгиня понимала, что дочь от скуки может и умишком тронуться, поэтому распорядилась выдать ей весь приклад, но чтобы не оставлять одну – пусть с ней сидят или Николка, или Марфутка, а про-верять пусть приходит Агафья.

Непутевая доченька не возражала.

Оставшись одна, она глядела в окошко, выходившее на задний двор, видала справа сад, видала кусты зацветающей сирени и большую черемуху, под которой играла в детстве. Она изучала все, что могло бы способствовать побегу. Вслед за безумной затеей выбраться через окно на крышу родилась иная – раскачавшись на спущенной из окна веревке, перескочить на дровяной сарай, а с него спрыгнуть в сад. Аграфене отродясь не приходилось проделывать таких кундштюков, но она была уверена, что справится. Как многие пьющие женщины, она отошала и полагала, что весит теперь не более ангела небесного.

Кроме того, она очень надеялась, что кавалеры, которых она сверху видала за беседкой и днем, и поздно вечером, сумеют ей помочь, ежели их хорошенько попросить.

Настал день, когда ей удалось утащить из корзины с рукоделием, которую уносила Марфутка, нарочно положенные сверху и прикрытые лоскутом шелка ножницы.

Оставалось быстро, пользуясь лунным светом, нарезать простыни, свить веревки и высадить окно. А из подходящей полоски полотна изготовить подвязки – нелепо было бы пускаться в бега со спущенными чулками.

## Глава 5

– Ваше сиятельство, егеря доносят – кто-то в лесу балуется, – сказал старый камердинер Василий. – Стреляют непутем. Вон там...

Он указал в окошко на далекий лес.

– Поди, госпоже Чернецкой дичи захотелось, – сообразил Орлов. – Не обеднею, коли в моем лесу ей дюжину перепелов подстрелят.

Василий хотел было напомнить, что такую мелочь пернатую, как перепела, лучше ловить бесшумно в силки, но промолчал. Барин был сильно озабочен своей новокупкой, так лучше не противоречить.

Сметанный в дороге держался неплохо, но прибыв на постоянное местожительство, заскучал. Не то чтобы болел – ни на что не жаловался, хотя его по-всякому проверяли, и расковали, когда Степану вдруг показалось, что копыта греются, и грудь жали, и бабки прощупывали, и бурчание брюха слушали, и целый консилиум устроили по поводу сена и свежей травы, а жеребец стоял понурый.

С каждым днем становилось все теплее, миновали черемуховые холода, и Орлов распорядился считать Сметанного отдохнувшим после дороги и понемногу, очень бережно, вводить его в работу. Вышел очередной спор – гонять ли в манеже, где безветренно и тихо, или выводить на прямую дорожку. Орлов подумал и решил: в манеже лошадь можно незаметно сплечить, а поскольку Сметанному предстоит бегать в запряжке, то гонять по дорожке, нарочно для того устроенной. Но не слишком усердствовать – вечером, когда воздух уже довольно прогрелся, закладывать коня в дрожки и для начала неторопливой рысцой – четыре версты, две туда, две обратно. В дрожках – Ерошка, на поддужной лошади – Фролка, и Егорка с Матюшкой сзади, вооруженные плетками и карабинами – мало ли что.

Потом граф распорядился прибавить еще две версты. И каждый день навещал Сметанного в стойле или в загоне, осведомлялся, проеден ли корм, не воротил ли жеребец морду от кормушки. Если случалось, что граф приходил перед тем, как жеребцу задавали его дневную порцию овса, то сам сперва кормил из горстей, мог угостить и кусочком мелюса<sup>2</sup>.

Сметанный его уже признавал, уже слышал издали шаги, но до той дружбы, что возникает между конем и его человеком, было пока далеко. Сметанный считал своим главным человеком Степана, понемногу привыкал к Фролке с Ерошкой. Для Фролки был праздник, когда жеребец боднул его лбом в плечо, боднул осторожно, деликатно, а Ерошка доложил: принес Сметанному воду, а тот взял губами за край рубахи и дважды дернул.

– Ты ко мне со всем почтением, и я к тебе со всем почтением, – так перевел Ерошка это действие на человеческий язык.

Когда граф был в конюшне или в загоне, туда к нему прибегали со всяким делом: садовник приносил план новых боскетов<sup>3</sup> в огромном саду, замечательных боскетов на склоне, к которым вели лестницы, архитектор (свой, из крепостных) предлагал на выбор рисунки беседок и павильонов, чтобы было летом где сидеть с гостями, пить чай и глядеть на клумбы с лабиринтом из подстриженных кустов. Заведовавший счетами немец, которого в Острове звали Генрихом Федоровичем, был взят на службу за отменную память всех расходов и тоже постоянно являлся со своими бумагами. Туда же бежали и псары, и капельмейстер рогового оркестра, и музыканты с нотами, и фейерверкер с новыми затеями. Орлов желал устраивать пышные

---

<sup>2</sup> Мелюс – сахар низшего разбора, не совсем очищенный, не рафинад.

<sup>3</sup> Боскет (фр. *bosquet*, от итал. *boschetto* – лесок, рошица) – элемент ландшафтного дизайна, участок регулярного парка или посаженная в декоративных целях густая группа деревьев или кустов.



приемы, с утра – охота в ближних лесах, ближе к вечеру – роскошный обед на сто двадцать кувертов, с музыкой, с огненной потехой. Лето было долгожданным временем года.

Старый камердинер Василий именно в загоне его и отыскал:

– К вашему сиятельству их сиятельство.

Это означало – приехал братец, непутевый Гришка. Упустить сдуру прекрасную женщину, которая многое прощала, – это еще нужно было умудриться. Надо отдать императрице должное – она немало терпела Гришкиных выкрутас, включая измены, пока не решилась с ним расстаться. Их расставание вызвало в столице не то что море, а океан сплетен. Как раз тогда случился в Москве чумной бунт, и Екатерина послала Григория Орлова умирять москвичей и наводить порядок, а люди все поняли по-своему: отправила с глаз долой, чтобы подхватил чуму и там, в Москве, помер. Но Григорий с заданием отлично справился – бунтарей укротил, открывал больницы и богадельни, дал москвичам работу. Тогда всем показалось, что императрица вновь приблизит его к себе, но место было занято – она предпочла Григория Второго, Потемкина.

– Где брат?

– Изволят сидеть в гостиной, спросили венгерского вина...

– Хорошо, иду.

Похлопав Сметанного по великолепной шее, Орлов обратился к Степану:

– Вечером вели проезжать его получше. Спешить некуда, но и резвить понемногу нужно. Хочу на свои именины устроить кавалькаду и бега, сам буду Сметанушкой править. Вся Москва прибежит смотреть, на что столь огромные деньжищи потрачены!

Он рассмеялся и пошел в дом, Василий поспешал следом. В сенях кликнули лакея Митрошку, он стянул с графа грязные сапоги, Василий подал туфли и сам их застегнул.

Поднявшись в гостиную и пройдя в диванную, Алехан Орлов увидел Гришку Орлова. Тот развалился, раскинулся всем телом, и задумчиво смотрел в окно сквозь пустую мутную бутылку.

– Добро пожаловать, – сказал младший брат. – Я думал, ты раньше объявишься. Неужто не хотел посмотреть моего жеребчика?

– Какой жеребчик?! – с отчаянием спросил Гришка. – Тебе хорошо, знай всякими приятностями себя окружай! А я... а у меня...

– Что стряслось?

Стрястись могло всякое – при такой-то буйной натуре.

– Братец, я влюбился!

– Только-то?

– Братец, ты не понял! Я в кузину Катиш влюбился!

– Я думаю, ты ваньку валяешь, – прямо ответил граф. – Слухи такие ходят, что волосы дыбом встают. Ты-де ее совратил, и мертвых младенцев она от тебя нарожала. Молчи, сам знаю, что брехня. Непременно тебе надобно, чтобы страсти кипели. Она же еще дитя.

– Как дитя? Ей уж восемнадцатый год.

Младший брат сел на диван напротив старшего.

– Брось, Гришка, – сказал он, – не морочь девке голову, не порть ей репутацию. Ты же все равно на ней жениться не сможешь. Она тебе – настоящая кузина, не московская.

Он имел в виду московский способ родниться, при котором сводную троюродную сестру тетki двоюродного брата без всякого смущения называли кузиной, и это всех устраивало. А Екатерина Зиновьева была такой родственницей Григория, что ни один поп не взялся бы венчать – матушка братьев Орловых была родной сестрой Катенькиного отца.

– Кто кому голову заморочил?! – в отчаянии спросил Гришка. – Думаешь, я – ей? Да она еще в куклы играла, когда в меня влюбилась! Ей тогда тринадцать было!

– А ты и рад стараться! – младший брат не верил, что старший якобы изнасиловал девочку и тем к себе привязал, однако и невинным ангелом его не считал. Старший понял, о чем речь.

– Христом-Богом клянусь, я ее не трогал! Целовал только...

– В уста?

– В уста...

– Поросенок ты, братец.

– Кто ж знал, что она так привяжется? Ведь прямо сказала: или ты, или никого не надо! Я сам думал – баловство одно, какой кузен с кузиной не целовался? А оно вон как вышло... Алехан, поверь – до сей поры я не знал, какая такая любовь бывает! А ее – полюбил... Полюбил, понимаешь? И буду добиваться, чтобы нас повенчали!

– Не повенчают.

– Повенчают! Государыне в ноги брошусь!

– Да что тебе государыня – Священный синод? Она против закона не пойдет.

– Братец, ты умный, придумай что-нибудь!

Ум и решительность Алехана Орлова не раз выручали государыню, но идти против Священного синода – тут требуется большая ловкость.

– На сколько ты ее старше? – спросил граф.

– Не все ли равно?

– Тебе сорок два года, Гриша, опомнись. Чуть не четверть века разницы, оно сейчас ничего, а потом опасно. Найди другую невесту.

– Уже не могу...

– Что ты натворил? Она в тягостях?! – воскликнул младший.

– Нет еще, я ее пальцем не тронул, а она требует. Коли любишь, говорит, пусть меж нами будет все, а людского суда не боюсь, так и говорит!

– Дурочка она... Пойдем, посмотришь, какого мне красавца из Турции привели, ты такого еще не видывал.

– Оно и видно, что мы родня, братец. Тебе самого дорогого в свете коня подавай, мне – девицу, на которой повенчаться невозможно! А она говорит – коли явится с прибылью, все дядья и теткы за нее горой встанут, добьются, чтобы нас повенчали.

Младший Орлов вздохнул.

– Дитя она еще... Держись от нее подальше, может, твоя дурь и пройдет.

– Братец, я ведь почему приехал?

– Сметанного посмотреть? В грехах покаяться?

– Катенька велела. Когда она при дворе, за ней присмотр, каждый шаг всем известен, когда в Конькове – тоже присмотр. Хоть она и сама себе теперь хозяйка, да у них в Конькове полно баб, наедине нас не оставят. И вот она придумала, чтобы нам тут встретиться. Чтобы сперва я приехал и все тебе объяснил, а дня через три, через четыре, и она – верхом, в мужском наряде! Ехать-то от Конькова до Острова – верст три десятка, не более...

– Оба вы с ума сбрели! – возмутился Алехан Орлов. – Сводником я еще не был! Вставай, пойдем жеребца смотреть, а про твои пашни и слушать не желаю.

Он понял замысел этой влюбленной пары: в Острове, где каждый житель только и ищет случая угодить графу Орлову, легко уговорить священника и причт Преображенского храма и тайно повенчаться. Покровительствовать этой затее он не желал. Держать ответ перед Священным синодом – соответственно, тоже не желал. А любовь... Любовь, коли сразу дать ей укорот, побесится и уgomонится. Главное – отнестись к ней так, как к жеребчику-неуку, без всяких душевных тонкостей.

Младший брат не ведал того кипения крови, которое так усложняло жизнь старшему.

Волей-неволей Гришка поплелся за младшим братом, оценил стати гулявшего в загоне Сметанного, потом Василий пришел за ними, чтобы доложить: кушанье подано.

Что это такое было, обед или ужин, они сами не знали, а за столом сидели часа четыре, не менее. И бывшее вспоминали, и старший брат пытался достучаться до каменного сердца младшего брата. Когда оба по случаю встречи малость злоупотребили рейнвейном, бургундским и португальским винами, их приятную беседу нарушил Василий:

– Ваше сиятельство, два путника на ночлег просятся.

– Вели уложить на сеновале, да присмотри – нет ли у них трубок с табаком.

– Ваше сиятельство, они оба – немцы.

– Бродячие немцы? – Алехан расхохотался. – Ладно, Бог с ними, немец тоже человек. Гляди-ка, темнеет. Пусть им с людской поварни чего ни на есть дадут. Чего тебе, Степан?

Конюх, приставленный к Сметанному, ворвался в столовую и рухнул на колени.

– Ваше сиятельство, Сметанушка пропал!

– Как – пропал, что ты врешь?

– Я отправил, как вы приказывать изволили, Фролку с Ерошкой – проездить Сметанушку. При них – Егорку с Матюшкой. И как чуял – пошел встречать! Слышу – там, в лесу, стреляют. Думаю – что за охота в потемках? Не к добру! И вот, ваше сиятельство, нет их, и нет их, и нет!

– Где лес, а где дорожка, по которой велено жеребца проездить?! – граф вскочил. – Степка, беги, подымай всех! Седлайте коней,правляйте фонари, едем искать!

Народу на конюшнях трудилось немало, все – молодые сильные парни и мужики, ловкие наездники. Десяти минут не прошло – образовался отряд, с которым хоть на прусского короля войной идти, хоть на шведского: все вооружены, все готовы к преследованию и бою. Братья Орловы тоже сели на коней.

– Не может быть, чтобы в трех шагах от моего дома коня увели, – сказал Алехан. – Наглость неслыханная! Тут что-то не то...

– Но дорожку осмотреть надо, пока совсем не стемнело, – заметил Гришка. – Только там и могут быть следы. Ну, с Богом!

– Следы? Ты прав! Ивашка, Петруха, ведите Догоняя, ведите Хватая, Даренку ведите!

Он знал поименно всех лучших псов своей псарни.

Собакам дали понюхать имущество Сметанного – попону, недоуздок, щетку со скребницей. Их, доведя до дорожки, пустили вперед, но псы следа не взяли, только скулили, не понимая, чего от них хотят.

Молодые конюхи пронесли по дорожке до конца, вернулись с донесением: пусто!

– Да что он, по воздуху улетел? – возмутился граф Орлов. – Не Пегас, чай! Вот что – собак нужно пустить от самой конюшни.

– Да там все уже затоптано, – напомнил старший братец. – И куда, кроме дорожки, могли бы твои олухи погнать Сметанного?

– Может, его что испугало, и понес? – предположил младший брат. – Птица из кустов вылетела? Так... Сейчас всех своих поселян на ноги поставлю! Пусть берут факелы, пусть прочесывают все окрестности! Кто найдет след – тому пять рублей, все слышали? Кто коня приведет, тому – пятьдесят!

Но тратить деньги графу не пришлось. Час спустя его отыскал на дороге молодой лакей Павлушка, Васильев выученик.

– Ваше сиятельство, Сметанный сыскался! – закричал он издали, еле управляясь с лошадью. – Ваше сиятельство, сам на конюшню пришел!

Граф помчался домой.

Сметанный стоял у ворот загона, от людей шарахался, всхрипывал, часто дышал, никого не подпускал. Степана, хорошо ему знакомого, не желал признавать. Выпрячь себя из дрожек не позволял.

– Слава Богу. Велю благодарственный молебен отслужить, – сказал граф, соскакивая с кобылы. – Сметанушка, голубчик, умница! Сам дорогу домой отыскал! Степа, нужно на него хоть попону накинуть. Где-то бегал, вспотел, не простыл бы.

– Сметанушка, я это, гляди – я! – Степан, пытаюсь подойти к жеребцу с попоной, чуть не плакал. – Сметанушка, дитятко!

– Дай-ка я, – непутевый Гришка, спешившись, пошел к коню. – Сметанушка!

– Перестань, не дури, – одернул его старший брат. – Он тебя еще не знает.

– погоди ты... Сметанушка, красавец ты наш... Эй, кто-нибудь, сбегайте за мелюсом!

Вскоре в Гришкиной ладони лежал хорошая горсть мелко наколотого желтого мелюса; человек этот сахар низшего разбора есть не станет, разве что совсем небогатый, а кони его уважают. Протягивая Сметанному лакомство, Гришка подходил мелкими шажками, объясняя коню, что он, конь, самый лучший, самый славный, самый умный. Дивное дело – Сметанный слушал, не возражал и не пятился, не прятал ушами. Как-то его голос старшего братца заворожил и успокоил. Правда, мелюс жеребец взял не сразу.

Потом конь позволил приблизиться и Степану. Степан распряг его, вывел из оглобеля и велел ставить дрожки в каретный сарай. Тут-то и оказалось, что Сметанный привез гостью.

В дрожках лежала женщина. Никому и в голову не пришло осветить их фонарем, потому женщину и не заметили. На ней было платье, какое носят дома дамы, значит – не крестьянка, не мещанка. И была она без чувств. Когда стали ее трясти, обнаружили, что ранена в плечо и потеряла много крови.

– Дрожки – отмыть, даму перенести в желтую спальню, – распорядился граф Орлов. – Василий, ты в ранах смыслишь – раздень, пойми, что там с ней, перевяжи. Сметанушка, где ж ты эту персону раздобыл?

– Сказывал я, ваше сиятельство, что в лесу стреляли! – вмешался Степан.

– Так где лес и где дорожка? – граф задумался. – И где, желал бы я знать, егеря и Ерошка с Фролкой?!

Он подошел к даме, которую, чтобы донести до спальни, уложили на носилки из попон и оглобеля.

– И чья такова?... Я ее, кажись, впервые вижу... Не обойтись без полиции... Ну-ка, посветите...

Фонарь поднесли совсем близко к лицу женщины.

– Что за страшная старуха, – сказал Орлов-старший. – Ей лет за полсотни, я чай...

– Менее. Голодом ее, что ли, морили? А платье-то бархатное... Василий, срежь с нее платье, да баб позови – пусть обмоют, да вот что! Пошли парнишку за Кабошкиным!

Кабошкин был отставной солдат, который прижился в Острове; он, нахватавшись на прусской войне всяких врачебных знаний, пользовал местных жителей и, как шутил граф, был лучше лекаря-немца: брал не в пример меньше, а никто у него еще не помер.

– Ваше сиятельство, Гнедаш! Гнедашка вернулся! – заголосили конюхи. – Держи, держи его!..

Еще один из пропавших коней отыскал дорогу на родную конюшню. Гнедаш был под егерем Матюшкой и, судя по всему, не так напугался, как Сметанный.

– Осмотреть его! – велел граф. – Ну что за денек! Может, хоть что-то пойдем.

Гнедаша подвели и стали расседлывать. Тут и оказалось, что седло в крови.

– Где ж тебя, черта, носило? – спросил его граф. – Где Матюшку потерял?

– Ваше сиятельство, и повод – в крови, где руками братья!

– Кто-то вздумал увести Сметанного, а егеря дали отпор, но кто? – спросил старший братец. – Кто-то следил и знал, когда его проезжают.

– Я бы на старуху Чернецкую подумал, да она коней любит и ни за что бы стрельбу не затеяла там, где можно поранить лошадь, – ответил младший братец. – Да и не на дорожке было

побоище, сам знаешь, там следов не нашли, а стрельба шла в лесу. Что-то тут неладно. Ну вот что, братцы. Если наши молодцы убиты – им уж не поможешь. Искать ночью в лесу раненого, что в беспамятстве, невозможно. Светает рано – вот, как только на востоке посветлеет, всем – в седлю и на поиски. Пока – отдыхать. Степа, ты будешь в стойле со Сметанным, хоть сутки с ним разговаривай и утешай, но чтоб конь успокоился.

– Алехан, я, кажись, догадался! – воскликнул старший братец. – Продать Сметанного у нас, в России, можно разве что в дикие сибирские украинны, да он там никому не нужен. Коня хотели увести, чтобы продать за границей! Контрабандисты бы его перекрасили, они на это мастаки. И вынырнул бы он лет через пяток – когда в каком-нибудь Вюртенберге вдруг появились бы арабы изумительных статей! Скажи, тут у тебя, в Острове никакие иноземцы не шлялись, не вынюхивали?

– Немцы у меня свои, здешнего производства... Француз-танцмейстер свой... Сегодня разве что...

– Они!

Граф вспомнил двух немцев, что попросились на ночлег.

– А в чем смысл? – спросил младший брат старшего. – Ладно бы они заранее пришли, все разведали и убрались. А так?..

– Не знаю, Алехан, но с этими немцами дело нечисто! Вели их привести!

– Я лучше велю запереть их в погребе. Завтра допросим.

– А коли они скажут, что за интрига сплелась вокруг Сметанного? Коли скажут, где твоих егерей и конюхов искать? – не унимался младший.

– Будь по-твоему.

Двух заспанных немцев привели с сеновала. Спросили о прозвании – один назвался Шульцем, другой Фельдманом. Спросили о цели странствий. Немцы, вставляя в свою немецкую речь немало русских слов, доложили – пробираются из Москвы в Коломну, где у Шульца замужняя дочь с детьми. Проверить сие было невозможно, и потому Гришка твердо сказал:

– Врут!

Когда они на вопросы, не подослал ли их кто разведать о Сметанном, ответили полным непониманием, Гришка сказал то же самое:

– Врут!

Графу тоже поведение этих людей казалось все более подозрительным, и он велел отвести их в погреб – пусть сидят до того дня, когда он соблаговолит отправить их в Москву к обер-полицеймейстеру Архарову, тот всякого мошенника насквозь видит.

Услышав эту угрозу и уразумев, что им предстоит просидеть под запором дня три, а то и четыре, немцы переглянулись и ответили вразнобой:

– Как вам будет угодно.

Когда их увели, младший братец сказал старшему:

– А по-моему, они даже рады, что в погреб попали. Может, от кого прячутся? А тут, у тебя, они будут безопасны.

– Вот пусть Архаров и разбирается, чему они рады, чему не рады. А нам и без того забот хватит.

Он имел в виду странную историю со Сметанным, но подумал и о грядущем визите Катеньки Зиновьевой. И тут же у него родилась мысль, как сему визиту помешать.

У графа имелась красиво вычерченная карта его владений. Он расстелил эту карту перед внутренним взором, явственно увидел все пути, какими можно подъехать к Острову, и усмехнулся. Пожалуй, смущать островского попа Гришкиными затеями не придется...

## Часть вторая

### Глава 6

Два моложавых петербургских немца сидели в погребке на Гончарной улице, пили пиво и жаловались друг другу на горькую судьбу. Собственно, особой горечи не было – просто обоим предстояло жениться на пожилых невестах.

Генрих Ройтман, портновский подмастерье, уже год подбивал клинья под вдову своего мастера Людвига Пфейфера – чуть ли не с того самого дня, как Пфейфер помер, и злые языки утверждали, будто от обжорства. Вдовушка Анна-Луиза была сорокалетней румяной толстушкой и еще могла родить пару крепких детишек. Но Генриху-то было всего двадцать шесть. Через десять лет привлекательная толстушка с тугими щечками и прочими прелестями станет обрюзгшей старухой, и как тогда быть?

Положение Иоганна Весселя было куда хуже. Аптекарь Бутман, у которого он служил помощником, объявил прямо: возьмет в дело и произведет в совладельцы аптеки, если Вессель женится на его сестре. Сестра так засиделась в девках, что по русскому обычаю ей бы уже пора переселяться в монастырь и принимать постриг, но этой сухой воле все еще мерещились женихи! Вессель подумал: у аптекаря только две дочери-подростка, сына, чтобы передать дело, нет, а ждать, пока старшая из девочек достигнет хотя бы семнадцати лет, опасно – петербургские немочки видят вокруг слишком много соблазнов, одни офицеры-гвардейцы чего стоят. На сестрицу же не то что красавец-офицер знатного рода, но и его старый дядька, нечто среднее между нянькой и денщиком, не польстится. К тому же Весселю тридцать четыре года, и если дожидаться – стукнет тридцать восемь, почти старик. А молодые жены очень даже охотно изменяют старым мужьям – это он знал доподлинно, сам легкомыслием таких женушек порой пользовался. Бутмановская сестрица уж точно изменять не станет и детей невесть от кого не родит.

Так что оба – и Ройтман, и Вессель, – решение приняли, о своих брачных намерениях объявили, но не могли отказать себе в скромном удовольствии – по-приятельски набубениться пивом и вволю изругать будущих супруг.

– Но у тебя же, мой милый, прикоплены денежки, – сказал Ройтман. – Я знаю, ты лет пятнадцать копил, не меньше.

– Тс-с, молчи, – ответил Вессель. – Мои денежки не поспевают за ценами. Будь у меня десять лет назад столько, сколько имею теперь, я бы открыл свою аптеку хоть на Пряжке, хоть еще дальше. А теперь с этими деньгами я могу только приобрести товар и обстановку, а на то, чтобы снять помещение и взять слугу, их уже не хватит.

– Но ведь ты уговорился с Каценеленбогеном.

– Уговорился... Все равно не получается.

Карл Каценеленбоген был дальний родственник Весселя, старый ростовщик. Вессель уговорился с ним и отдал ему свои накопления, чтобы деньги не лежали без дела, понемногу делаясь дешевле, а работали. Столковались так: Вессель имеет семь процентов годовых, притом что Каценеленбоген отдает денежки под ручной заклад проигравшимся в пух и прах гвардейцам из расчета по меньшей мере двадцати процентов. При этом родственник не просто утверждал, а сам был уверен, что оказывает аптекарскому помощнику неслыханное благодеяние.

– Это печально.

– И ведь господин аптекарь должен быть изрядно одет, должен встречать покупателей, отменно причесанный, должен водить дружбу с докторами...

– Да, ты прав. Но ты ведь тогда хотел жениться на простой модисточке...

– Ах, Ройтман, неужели ты не делал в жизни глупостей? Думаю, Бог уберег меня, послав тогда тот экипаж на Невском, который на нее наехал!

Вессель подмигнул, Ройтман подмигнул в ответ, и оба рассмеялись. Потом они попросили еще по кружке, чокнулись, разбрызгав пену, и выпили за то, чтобы в супружестве не скупаться. В конце концов, господин аптекарь и господин портной имеют средства, чтобы время от времени навещать сводню и развлекаться с молоденькими козочками.

Ройтман, впрочем, полагал, что на первое время хватит и супруги. Они со вдовушкой походили друг на дружку – оба невысокие, толстенькие, белокурые. И они уже поторопились обновить супружеское ложе. А вот Вессель даже не был похож на немца – того классического немца, который считается в Санкт-Петербурге образцовым. Он был не просто темноволос, а даже несколько смахивал то ли на итальянца, то ли на испанца, то ли еще на какого южного жителя. На этом основании он считал себя мужчиной темпераментным.

Засиживаться в погребке Ройтман и Вессель не стали – даже в потреблении пива должен быть свой порядок и регламент. Они выбрались на улицу и пошли рядышком, скользя и спотыкаясь на подтаявшем снегу, причем Вессель поддерживал Ройтмана под локоть, а Ройтман пытался спеть песенку о Катарине, продающей башмаки за поцелуи.

Возле дома, где они оба квартировали, дорогу им заступил высокий плечистый детина в армяке и с преогромной бородой. Он чуть ли не рухнул на пьяненьких немцев из-за угла и так взмахнул руками, что стало ясно: сейчас будет грабить и убивать.

Следовало бы завопить по русскому обычаю «караул!», чтобы прибежали делающие положенный обход кварталов десятские. Но у Весселя вдруг в горле пересохло. Более того – руки-ноги отнялись.

Зато пухленький Ройтман с воплем не человеческим, а скорее кошачьим, ринулся в атаку и тюкнул детину кулачками в грудь и в живот.

Он сам удивился, когда детина от этого наскока рухнул наземь.

– Генрих, ты убил его! – воскликнул Вессель.

– О мой Бог, нет, я не мог его убить!

Немцы опустили на корточки и стали тормозить детину. Но чуть не сели в снег, когда он заговорил на чистом немецком языке.

– Я болен, я умираю... Дайте мне поесть, ради всего святого... Бог наградит вас...

– Это что за чудо? – спросил Ройтман.

Немец в армяке и с бородой – это было воистину чудо.

– Кто вы, сударь? – спросил Вессель.

– Я несчастный человек, помогите мне...

Ройтман и Вессель решили проявить милосердие. С немалым трудом они поставили детину на ноги и ввели в свое жилище.

Под армяком на нем были два старых драных кафтана, один – солдатский мундирный, другой обыкновенный, штаны на манер крестьянских, заправленные в валяные сапоги, рубаха – почерневшая от грязи. К тому же гость завшивел. Это было отвратительно, однако выставять его на улицу немцы не стали, только растопили печку и сожгли там жуткую рубаху.

– Его нужно помыть, – сказал Ройтман.

– Но как?..

Время было позднее. Квартирные хозяева обычно снабжали немцев по требованию горячей водой, могли нагреть хоть ведро, но будить их Ройтман и Вессель опасались. У них была бульотка со спиртовкой, чтобы утром готовить себе кофе, был кувшин с водой, но воды там оставалось немного, и потому Вессель только обтер краем полотенца лицо и руки гостя. Тот благодарил слабым голосом, но в изысканных выражениях, и наконец назвал себя – Карл-Отто Эрлих. Ему приготовили кофе и дали булку – одну из двух, что немцы припасли для завтрака. Он оказался столь голоден, что и вторую съел.

Вессель, не будучи врачом, все же немного разбирался в хворобах. Он определил болезнь как запущенную простуду, достал из шкафчика бутылочки с целебными бальзамами и напоил Эрлиха. Потом его, побоявшись укладывать в постель, устроили на полу возле печки и выдали полотенце – вытирать нос. Наконец гость задремал.

– Кажется, мы своими руками устроили себе неприятность, – сказал Ройтман.

– Похоже на то, – согласился Вессель. – Я завтра принесу более подходящих лекарств, мы напоим его и отведем на постоянный двор, снимем ему там конурку.

– Милосердие, оказывается, вещь обременительная, – признался Ройтман.

– И дорогостоящая... – вздохнул Вессель.

На следующий день оказалось, что еще и опасная.

Эрлиху стало полегче, и он попросил у Весселя нож с острым кончиком. Взяв кушак, которым был подпоясан армяк, он подпорол шов и вытащил панагию на довольно толстой золотой цепочке. Панагия же была размером чуть ли не с кофейное блюдо.

– Вот это надо продать, – сказал Эрлих. – Если бы я попытался – меня бы связали и доставили на съезжую, вы знаете, как русские относятся к этим украшениям. И мой вид доверия не внушает. А вы тут живете, вы знаете, кто бы мог без лишнего шума приобрести эту вещь. Тут одного золота с четверть фунта.

Вессель и Ройтман уставились на лик Богородицы, потом – друг на друга, потом – на Эрлиха.

– Это носят на груди православные священники, – сказал Ройтман.

– Да, я знаю. Видимо, священник потерял эту вещицу, а я нашел. И вот вынужден просить вас о помощи. Поищите покупателя или хоть отнесите к ростовщику, возьмите денег под заклад. Только не продешевите, – строго велел Эрлих.

Разговор этот был рано утром. Вессель и Ройтман снабдили гостя едой, горячей водой, мылом, чтобы сам о себе позаботился, и ушли: один – в портняжную мастерскую, где пока что хозяйничала вдова Пфейфер, другой – в аптеку. И у обоих на душе кошки скребли – гость нравился им все менее и менее.

– Никакой священник не терял эту вещицу, – угрюмо сказал Ройтман.

– С чего ты взял?

– Цепочка цела. Потерять это священник мог только вместе с головой...

Вессель назвал приятеля паникером и трусом, но Ройтман стоял на своем: приютили какого-то грабителя с большой дороги, невесть как научившегося немецкому языку. Оказалось, толстенький портняжка очень упрям и с перепугу способен на подвиги.

Ройтман решительно потребовал от вдовы Пфайфер торжественного бракосочетания, пока про их тайные встречи никто не проведал, не то сплетен не оберешься. Вдовушка, одновременно деловитая и сентиментальная, прикинула – сплетни ей не нужны, мужская рука в деле нужна, нежные чувства все еще кажутся сомнительными, но страсть в постели изобразить нельзя – или она есть, или ее нет, а как раз страсти у Ройтмана пока хватало. И она отправилась вместе с суженым в кирху апостола Петра, что на Невском. Там жених и невеста быстро уговорились с пастором, благо препятствий к браку никаких не имелось. А до бракосочетания, назначенного через неделю, Ройтман решил пожить у закройщика Вольпе.

– Я не желаю однажды оказаться в каземате из-за этого Эрлиха, – сказал он Весселю, когда увозил свое имущество. – Ты мне не веришь, а я доподлинно знаю, это – грабитель. А может, даже убийца.

Вессель сам уже был не рад своему милосердию. Он понятия не имел, как немец может продать в Санкт-Петербурге дорогую панагию. Все, кто дает деньги под заклад, так или иначе связаны с полицией и поставляют ей сведения. В том числе и старый Каценеленбоген. Он постоянно делает подношения частному приставу. И впрямь – отданная в ручной заклад вещица вполне может оказаться ворованной, и от пристава зависит, дать ли делу ход, или



закрыть на него глаза. Опять же – пристав дает приметы украденных драгоценностей, когда такая попадется – приходится сдавать полицейским того, кто ее принес. Вессель вовсе не желал впутываться в дело об убийстве попа.

Эрлих, узнав, что дорогая вещь все еще у Весселя, изъявил недовольство.

– Я же просил вас, сударь... – проворчал он.

И Вессель понял: этот человек привык командовать и распоряжаться. Догадка совершенно не вязалась с армяком и бородой, но бороду отрастить нетрудно, это дело времени, армяк приобрести – да на том же Сенном рынке у перекупщиц любой найдется. А вот повадку за деньги не купишь.

Человек, назвавшийся Карлом Эрлихом, пока Вессель трудился в аптеке, лежал на постели Ройтмана и мечтами уносился в будущее. Легкий жар, который все не удавалось истребить, этому способствовал. В будущем мнимый Эрлих видел себя по меньшей мере полковником, но это – для начала, потому что сразу ему больших чинов не дадут из обычной осторожности. Зато лет через пять не будет при дворе более уважаемого человека!

И, видимо, придется жениться. Многие впрягаются в брачную телегу ради приданого и чиновной родни невесты. Опять же – если есть имущество, должен быть и наследник.

Вот как раз о семейной жизни мнимый Эрлих не мечтал. Женщины в его судьбе значили очень мало – все, кроме одной.

Они не вызывали в нем бурных чувств – обычное плотское желание, а потом легкое презрение. Все, кроме одной. Ту он ненавидел всеми силами души.

У него было все – он совсем молодым прибыл из Голштинии в Россию, он понравился великому князю, он дослужился до неплохого чина – стал капитаном гренадерской роты. Когда померла русская царица Елизавета и великий князь стал государем Петром Федоровичем, третьим сего имени, казалось – все складывается изумительно. Государь Петр задумал нанять еще множество голштинцев, сформировать новые полки и школить их на манер прусских, чего же лучше? Государь Петр мечтал о войне – он желал совместно с Пруссией, которой вернул все незадолго до того занятые русской армией земли, воевать с Данией за свой Шлезвиг, отнятый еще у его предков. Это была бы великолепная и победоносная война, мечта любого офицера.

Государь Петр не корчил из себя высокоумного и чванливого аристократа, он был – свой, он веселился со своими голштинцами, как с равными, он пил и пел солдатские песни, тискал девок и потешался над женой, которая втихомолку спит со всей гвардией.

Но государь был коварно низложен. Он вовремя не разгадал измену. Братья Орловы и их приспешники взбаламутили гвардию. А гвардия – это молодые аристократы, надменные и бесстрашные, для них законный государь был почти врагом – ему не могли простить замирения с Пруссией, когда победа над ней была почти одержана.

На престол взошла женщина, бывшая принцесса крошечного немецкого княжества, которое и на карте-то без лупы не сыщешь. Женщина на троне – это же недоразумение, это отрицание всякого разумного порядка. И ладно бы какая-нибудь вдовая герцогиня, имеющая полторы сотни подданных, замок величиной с голландскую мельницу и две пушки для обороны – времен короля Шарлеманя. Та самая жена, которую государь Петр за все ее шалости и интриги собрался запереть в монастыре, дать ей развод и жениться на своей метреске Лизхен Воронцовой, опередила его и нанесла коварный удар. Вдруг оказалось, что чуть ли не вся армия – на ее стороне, что вельможи желают видеть ее на троне. Один только был в этой толпе порядочный человек, Никита Панин, который полагал, будто ей следует стать всего лишь регентшей при наследнике, Павле Петровиче, до его совершеннолетия, да Панина и слушать не стали.

Голштинцы потом уже сообразили – не обошлось в заговоре без французских и английских денег. Но это было уже потом.

Государя предупреждали! Он не верил, что жена отважится на бунт, и, уехав из столицы в Ораниенбаум, составлял там план военной кампании против датского короля. Выступить в поход он собирался в июне. И тут словно сам черт вмешался!

В черта мнимый Эрлих поневоле поверил – после тех событий. Все произошло стремительно и беспощадно. Неверная жена, исчезнув из Петергофа, вдруг объявилась в столице, во главе гвардии. Гвардейские полки пошли на Петергоф. Государь Петр вообразил, что сумеет защитить маленькую петергофскую крепость с одним отрядом голштинцев. Возможность вовремя уплыть в Кронштадт он упустил. А когда все же сел на суда со всем своим двором – было поздно, адмирал Талызин уже успел присягнуть неверной жене, интриганке и заговорщице.

Мнимый Эрлих случайно оказался в том отряде, но не уплыл в Кронштадт, потому что для всех не хватило места на судах. Для придворных дам хватило, для верных офицеров – нет. Он с друзьями ждал, как повернется дело, на берегу, и они уже были готовы при необходимости мчаться в Пруссию – там государь Петр мог найти защиту и поддержку. Но он в помутнении рассудка отправился в Ораниенбаум, где подписал отречение от престола.

Мнимый Эрлих в последний раз видел своего государя всходящим на судно и все новости принимал с определенным недоверием. Подписать отречение – сущее безумие, не попытаться хоть теперь бежать – безумие вдвойне, позволить увезти себя в Ропшу – предел безумия, и потому известие о случайной смерти государя в этой Ропше мнимый Эрлих сразу принял с большим сомнением. Он понимал – тут какая-то интрига, не помирают от геморроидальных коллик. Яд или кинжал... Или же каземат, какой-нибудь Шлиссельбург или иной, еще хуже.

Когда большинство голштинцев вернули на родину, он остался в России – ждать. Что-то должно было произойти. Чем дольше ждал – тем менее верил в смерть государя Петра. Остались и другие голштинцы, почти без средств к существованию. О них вспомнили год спустя. Барон Беренд Рейнгольд фон Дельвиг, бывший гофмаршалом при государе Петре, пожелал служить в России и попросил себе полк. Мнимый Эрлих решил, что лучше всего ему будет служить под началом фон Дельвига. Эти просьбы высочайше удовлетворили, и он оказался в скучнейшей Лифляндии, сожравшей его лучшие годы. Из столицы долетали странные слухи – некто Мирович пытался освободить загадочного узника в Шлиссельбурге, за что и был казнен. В то же время случились в Курском уезде крестьянские волнения, и говорили, что подбил людишек к бунту государь Петр. Вскоре оказалось – самозванец, армянский купчишка. Потом явились еще два лже-Петра, в Нижегородской губернии и на Черниговщине. И еще, и еще! Одного, изловив, приговорили было к смертной казни, но захватившая престол злодейка его отчего-то помиловала и сослала в Нерчинск. Доехал ли, где оказался – Бог весть.

Мнимый Эрлих чувствовал – нельзя уезжать из России, что-то должно случиться. Смешно верить, что государь Петр явится во главе сотни босых поселян с вилами. Если он жив – то его где-то прячут и помогают собрать войско.

И еще – он все время знал, что в Санкт-Петербурге живет дитя, мальчик, который считается сыном государя Петра. И тут у него была своя теория.

Да, государь часто заявлял, что не знает, от кого беременеет его жена. Но от сына он не отрекался. Это – во-первых. Во-вторых – злодейка, обманом захватившая трон, сына не любила и видалась с ним редко, это знали даже в Лифляндии. При всем презрении к женщинам, мнимый Эрлих все же был убежден: хорошая мать старается держать дитя при себе, когда дитя от любимого мужа – тем более. Если злодейка не любила Павла Петровича – это и было прямым доказательством отцовства государя Петра. И с мальчиком связывались какие-то туманные и невнятные надежды.

А осенью 1772 года донеслась весть – в оренбургских степях объявился человек, назвавшийся чудесно спасшимся государем Петром Федоровичем. И не просто объявился, а с целым войском – его признали яицкие казаки и башкиры. Казаки уже давно буйнили и оказывали

сопротивление генералам злодейки. На уральских заводах тоже было беспокойно. Слухи о том, что покойный государь готовил указы о скором облегчении народной участи, а жена с заговорщиками его за это убили, ходили и раньше. И внезапно воскресший государь явился весьма кстати.

Разум мнимого Эрлиха помрачился – никакие доводы рассудка не действовали. Ему безумно хотелось, чтобы государь спасся. Как это было возможно – он не представлял, он просто поверил. Барон фон Дельвиг припрятал полковое знамя голштинцев – мнимый Эрлих это знамя выкрал и, подбив на бегство еще несколько офицеров, отправился к Оренбургу.

Вспоминать про это путешествие не хотелось – все вышло плохо, очень плохо. Перерядившись русскими мужиками и за время пути отрастив бороды, голштинцы едва не встретили новоявленного царя у Илецкого городка, но он уже шел брать штурмом Оренбург.

Под Оренбургом голштинцы наконец увидели того, к кому ехали, и пришли в растерянность: не государь, вообще неведомо кто! Но самозванец хорошо их принял, порадовался знамени, поставил на довольствие, и они, к немалому своему удивлению, обнаружили в войске французов.

Нужно было решать – как быть дальше. Мнимый Эрлих мучился раздумьями недолго. Человек, назвавший себя императором Петром Федоровичем и этим именем уже подписывавший указы, имел твердое намерение уничтожить злодейку и интриганку, которую мнимый Эрлих ненавидел всеми силами души. На пирах он провозглашал тосты во здравие «своего сына и наследника» Павла Петровича, на стену там, где жил, вешал портрет цесаревича и прилюдно с ним беседовал. Это было нелепо – однако обнадеживало. И мнимый Эрлих убедил приятелей остаться в мятежном войске.

Оренбург взять не удалось, и, хотя войско росло, хотя пришло множество башкир, хотя одерживало победы, но голштинцы ощущали понятную тревогу. Они понимали, что императрица еще не принялась за бунтовщиков всерьез. И им не понравилось, что главный бунтовщик вдруг женился на молодой казачке. Раз ты для всех – государь Петр, имеющий законную жену, то и не смущай умы двоеженством, – так рассуждали голштинцы. А самозванец еще почище штуку выкинул – объявил, что вот войдет победным маршем в столицу – и женится на давней своей пассии Лизхен Воронцовой... Три жены у него будет, что ли?

Мнимый Эрлих и Фридрих Армштадт были прикомандированы к отряду атамана Овчинникова, где давали толковые советы и помогли взять штурмом Гурьев городок. Потом была еще одна победа – под Оренбургом, где у сделавшего неудачную вылазку отряда осажденных удалось отбить и пушки, и боеприпасы, и различную амуницию. Оттуда голштинцев с их знаменем послали штурмовать Уфу с атаманом Зарубиным. Это было большой неудачей. А потом разведка донесла – императрица наконец послала против мятежников карательный корпус из десяти кавалерийских и пехотных полков, командовал им Александр Ильич Бибиков, отлично показавший себя во время недавней семилетней войны с Пруссией. Голштинцы забеспокоились. Так называемый государь Петр Федорович осадил разом несколько сильных крепостей, а двигаться к столице не собирался.

И пошли поражения – одно за другим. Голштинцы делали все, что могли, – все же они были офицеры, а не мужики в лаптях. Бибиков удивлялся, что люди, непросвещенные в военном ремесле, что-то смыслят в стратегии и тактике. Все яснее делалось, что затея провалилась и пора уходить. Вдруг фортуна повернулась к мятежникам лицом, и даже заговорили в войске, что царь-батюшка идет на Москву. Голштинцы остались. А тут еще объявился мошенник Долгополов, сам себя назначивший посланником цесаревича Павла к родимому батюшке. Голштинцы поверили было – отчего бы наследнику, нелюбимому сыну матушки-интриганки, не прислать гонца? Но то, что Долгополов громко подтверждал царское происхождение самозванца, открыло им глаза. Он не мог не знать, что сходства между покойником и самозванцем нет ни малейшего.

Было уже лето, мороз голштинцев не допекал, они наловчились говорить по-русски, были на хорошем счету у атаманов, к войску присоединялись все новые люди, впереди маячила Москва, а за Москвой, статочно, и Санкт-Петербург. Отряды самозванца, выпустившего указы об освобождении крестьян, в деревнях встречали хлебом-солью и колокольным звоном. Но он, дойдя до границ Московской губернии, повернул на юг. Причина была простейшая – казаки устали воевать и собрались уходить в дальние степи, за Волгу и Яик. Они по доброте звали с собой голштинцев, а один человек предупредил, что казацкие полковники что-то недовольны «императором», так не вышло бы беды.

– Что нам делать в степях? – спросил Фридрих Армштадт.

– Мы можем уйти в Персию, – предположил Адольф Берг. – А оттуда пробираться к греческим островам, к Италии...

– Ты знаешь, где она, эта Персия?

Голштинцы раздобыли карту и поняли, что, спускаясь вместе с самозванцем вниз по Волге, они как раз и движутся к Персии. Но на плечах у них уже висели отряды Михельсона, который заменил умершего Бибикова. А волжские казаки отказались присоединяться к самозванцу.

Наконец произошел решительный бой – неподалеку от Астрахани. Кавалеристы отбили у мятежников пушки, там погиб Армштадт. Мнимый Эрлих и Берг бежали вместе с самозванцем за Волгу, непонятно куда. Там казацкие полковники, якобы для того, чтобы удобнее уходить от погони, разделили отряд, и голштинцы оказались вместе с атаманом Перфильевым. Во время стычки с карательным отрядом у реки Деркул был смертельно ранен Берг. Сам Перфильев со своими казаками попал в плен.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.